Александр Малькевич
участник СВО
г. Санкт-Петербург (проживание) / Белгородская область (служба)
alexander.malkevich@inbox.ru

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
Записки с передовой

Предисловие

Эта книга — не о войне. Она о людях на войне.
О тех, кто пришел сюда добровольно — не по мобилизации, не по призыву, а по собственному выбору. О тех, кто оставил прошлую жизнь там, за линией фронта, и стал кем-то другим. О тех, кто каждый день платит цену — честную, без скидок, без бонусов — за право остаться человеком.
Гюнтер и Скриптор. Лейтенант связи и рядовой-водитель. Москвич и питерец. Оба — за пятьдесят. Оба — из другой жизни. Оба — здесь навсегда.
Гюнтер был топ-менеджером. Жил на Кутузовском проспекте в хорошем столичном районе, ездил на дорогой машине, носил костюмы из Италии. У него была квартира с панорамными окнами, семья, карьера. У него было все. Кроме смысла. Он ушел на фронт не от безысходности — от пустоты. Чтобы найти себя. Чтобы понять, кто он такой, когда вокруг нет офисов, совещаний и дорогих ручек. Он взял позывной в честь своего дога — огромного черного пса, который ждал его дома. И стал Гюнтером. Навсегда.
Скриптор был общественным деятелем. Блогером. Почти политиком. Его показывали по федеральным каналам, его мнение имело вес, его номер был в телефонах у тех, кто решал. А потом все рухнуло. Его обвинили, вычеркнули, забыли. Телефон затих. Друзья исчезли. Работы не стало. Он ушел на фронт не за славой — за правом. Снова говорить. Снова быть. Он набил на руках несколько татуировок на латыни и стал Скриптором. Летописцем войны. Навсегда.
Они встретились в блиндаже где-то на освобожденных нами землях. Два человека из прошлой жизни, которые больше никогда не вернутся туда. Два человека, которые стали братьями по оружию, по боли, по правде.
Эта книга — о них. О трех черных бананах на Новый год под Лисичанском. О букете ромашек, собранном под дронами. О красном диване, купленном на «Авито» за три тысячи рублей. О мешках с сушками от семьи Петросян. О совещаниях, на которых говорят красиво, но в пустоту — и пустое.
О наградах, которые приходят слишком поздно. О статусе, который обязывает к большему. О людях государевых, которых государство забудет.
Эта книга — о честной цене.
На гражданке ты сам указываешь себе цену. Торгуешься с теми, кто хочет тебя купить. На фронте цену назначают окружающие. И эта цена всегда честная. Здесь нет ни скидок, ни бонусов. Одним поступком можно поднять ее, другим — потерять все.
Эта книга — о том, что настоящая награда — это не железка на груди. Это пот, который заливает глаза, когда ты тащишь раненого товарища. Это слезы, которые ты прячешь, когда хоронишь друга. Это кровь — своя и чужая, — которая не отмывается никогда. Все соленое. Пот. Слезы. Кровь. Вот это — настоящее жалованье войны.
Эта книга — о том, что война не заканчивается. Она продолжается внутри каждого, кто там был. Она меняет тебя необратимо. Ты больше не можешь жить, как раньше. Ты больше не можешь притворяться, что все это неважно. Ты видел смерть. Ты держал на руках умирающих. Ты знаешь цену жизни. И ты не сможешь вернуться. Не физически — внутри.
Эта книга — о буферной зоне. О мембране между двумя мирами. О тех, кто держит волну, чтобы война не пришла в каждый дом. О плотине, которая держит напор. О листве, которая опадает, чтобы дерево стояло.

Эта книга — о людях государевых. О тех, кто служит не за награды, не за деньги, не за славу. О тех, кто служит потому, что иначе нельзя. О тех, кто знает, что Родина забудет о них. Но они не забудут о своем долге. Никогда.

Она — о людях. О тех, кто каждый день делает выбор — и отвечает за него. О тех, кто знает, что война — это не подвиг, а работа. Грязная, кровавая, страшная работа. О тех, кто остается человеком, даже когда вокруг — ад.

Эта книга — о Гюнтере и Скрипторе. О двух людях, которые нашли себя на войне. И потеряли себя навсегда.

Эта книга — о честной цене.

Цене, которую платят те, кто воюет.

Цене, которую платят те, кто остается.

Цене, которую платим все мы.

Добро пожаловать на войну. Их войну. Нашу войну.

Три банана

Гюнтер дремал на своем красном диване. Диван этот в их кругу безоговорочно прозвали «цыганским» — за яркость, за некую неуместную роскошь среди аскетичного военного быта.
На самом деле все вокруг было затянуто зелеными маскировочными сетями — стены, потолок, даже стол. Зеленое, серое, защитное. А диван купили на «Авито» за три тысячи рублей — ярко-красный, с потертыми подлокотниками и продавленными пружинами. Пятно цвета среди камуфляжной монотонности.
Была мысль обтянуть его тканью цвета хаки. Но Гюнтер махнул рукой. Пусть будет красным. Пусть напоминает, что где-то существует другая жизнь — яркая, бестолковая, гражданская.
В минуты такого полусна ему отчаянно хотелось тишины и пустоты, но мозг, привыкший к постоянному анализу, отказывался подчиняться. Мысли невольно скакали по шкале времени: прошлое, будущее, настоящее. Перед закрытыми глазами возникали лица, обрывки фраз, события и ощущения, которые, казалось, уже навсегда впечатались в подкорку.
Лейтенант вспомнил себя простым солдатом. 2022 год, где-то под Лисичанском. Тяжелое, вязкое время. Если бы ему тогда дали холст и краски, чтобы написать картину тех событий, он, наверное, выдавил бы из тюбиков только серый цвет. Разных оттенков, но все равно — серый. Цвет пыли, промерзшей земли и бесконечной усталости.
Канун нового, 2023 года. Почти месяц без ротации. Передок. Еды и воды было в обрез. Спали по два часа в сутки — если повезет. Остальное время — дежурство, наблюдение, ожидание. Ожидание чего угодно: атаки, прилета, приказа, смерти.
Он поймал себя тогда на мысли, что перестал смотреть на часы. Они больше не имели значения. Время превратилось в бесконечную амебу, где нет утра и вечера, а есть только короткий промежуток между опасностью и сном. Ты просто существуешь, и тебе неважно, какой сегодня день недели и сколько минут осталось до рассвета. Ты живешь от одного вдоха до другого. И это — единственное, что имеет смысл.
За пару недель до Нового года у его жены был день рождения. Впервые более чем за тридцать лет совместной жизни он ее не поздравил. Нет, он не забыл. Забыть такое невозможно. Он не смог. Связи не было. В земляной щели, куда едва долетал ветер, не было ни одной палочки сигнала, чтобы отправить короткое: «Я живой». Телефон был бесполезным куском пластика и металла. Он просто лежал в кармане — холодный, мертвый, как камень.
Гюнтер лежал тогда в сырости, смотрел в темный земляной потолок, подпертый гнилыми досками, и мысленно отправлял жене импульс прямо в сердце. Он был уверен, что та, другая связь — невидимая, которая соединяет людей за десятки лет брака, — не дает сбоев. «Я живой. Я тебя люблю. Прости».
Он представлял, как она сидит дома, смотрит на телефон и ждет. Ждет хоть одного слова. Хоть одной буквы. Хоть чего-нибудь, что докажет: он там, он дышит, он помнит. Но телефон молчал. И она не знала, что с ним. Жив ли. Ранен ли. Или уже — нет.
Это было хуже, чем холод, голод и страх. Хуже, чем грязь, вши и бессонница. Хуже, чем артиллерия, которая молотила по позициям каждую ночь. Это было невыносимо — знать, что ты причиняешь боль самому дорогому человеку и ничего не можешь с этим сделать.
В окопе тогда крутилась одна и та же назойливая мысль: «Удастся ли к 30 декабря выйти на связь? Успею ли поздравить дочь и семью с Новым годом?» Это было важно. Это было единственное, что связывало его с нормальной жизнью, оставшейся там, за линией серого тумана.
Но еще важнее было выжить. Видимо, так устроен человеческий мозг: в трудные минуты он отбрасывает все условности и социальные ритуалы, концентрируясь на одной простой идее — выжить. Праздники и юбилеи на войне — это категории мирной жизни. Это мишура, которая осыпается под грохот артиллерии. Это слова, которые теряют смысл, когда ты сидишь в яме и слушаешь, как над головой свистят осколки.
На Новый год в блиндаж принесли пакет от командира. Какой-то нехитрый гуманитарный набор, чудом доехавший до их позиций. Внутри было два сморщенных яблока, плитка

шоколада и три банана. От лютого мороза бананы стали совершенно черными, будто обугленными. Шкурка лопалась, обнажая белую, слегка подмороженную мякоть. Они выглядели несъедобными. Мертвыми. Как будто их выкопали из земли.

Они разделили этот нехитрый подарок на всех. Ели медленно, растягивая удовольствие. Морозный банан слегка хрустел на зубах, как мороженое, но казался самой изысканной едой на свете. Слаще него не было ничего в жизни. Гюнтер закрыл глаза и жевал медленно, стараясь запомнить вкус. Сладкий. Холодный. Настоящий.

Это был праздник. Не парад, не фейерверк, не застолье с тостами. А три черных банана, разделенные на шестерых в земляной яме, где пахло сыростью, табаком и страхом.

Гюнтер улыбнулся, сел на диване и потер лицо ладонями.

«Бананы, — подумал он. — Когда в мирной жизни я им радовался?»

В гражданской жизни он проходил мимо них в супермаркете, даже не глядя. Обычная трава, южный фрукт, надоевшая экзотика. Желтые, ровные, пластиковые на вид. Он покупал их машинально, если жена просила. Ел, не замечая вкуса. Выбрасывал, если чернели.

А тогда, в той земляной яме, ощетинившейся в сторону противника стволом пулемета, эти три почерневших от холода банана были настоящим сокровищем. Символом того, что их не забыли. Что мир где-то существует. Что Новый год — есть. Что жизнь — продолжается.

Потом, уже в январе, когда связь наладилась, он поздравил всех со всеми прошедшими праздниками. Голос у него был глухой и простуженный, но он старался говорить бодро. Жена плакала в трубку. Дочь молчала. Он слышал, как она сглатывает слезы. «Папа, — сказала она наконец. — Больше так не делай. Пожалуйста». Он пообещал. Соврал. Потому что на войне ты не можешь обещать ничего. Даже того, что позвонишь завтра.

И другие праздники он отмечал в более комфортных условиях — в тылу, за столом, с горячей едой. Но Гюнтер точно знал: ему на всю жизнь запомнятся те самые три перемерзших банана, разделенные на всех в новогоднюю ночь.

Потому что на фронте ценно только то, что помогает выжить.

А гражданскому этого, наверное, не понять.

Он встал с дивана, потянулся, хрустнув позвоночником, и пошел на улицу курить.

Вечер был теплым, почти летним, хотя календарь показывал начало сентября. Воздух пах пылью, травой и дымом — всегда дымом. Где-то вдалеке глухо ухало. Привычно. Как фон. Как шум дождя.

Гюнтер прикурил, затянулся и увидел Скриптора. Тот ходил вдоль забора — медленно, задумчиво, как человек, который пытается что-то решить и не может. Руки в карманах, плечи опущены, взгляд в землю.

— Скриптор, — окликнул Гюнтер. — Что ходишь? Присядь.

Тот поднял голову, кивнул и подошел. Сел рядом на бревно, достал свою пачку, закурил. Молчали. Курили. Это было нормально. На войне молчание — не неловкость. Это просто пауза. Передышка. Момент, когда можно не притворяться.

Они как-то сблизились за последние месяцы. Возраст — оба чуть за пятьдесят. Столичные города — Москва, Питер. И некая растерянность взрослого интеллигентного человека на войне — от всего, что окружает. От грубости, от жестокости, от абсурда.

Хотя они оба понимали, как это произошло. Это был выбор. Осознанный. Каждый пришел сюда сам. Не по призыву, не по мобилизации — добровольно.

Гюнтер хотел сменить обстановку. Вырваться из столичного круга работы менеджером. Из офисной рутины, бесконечных совещаний, отчетов, которые никто не читал. Из жизни, где ты просто функция. Винтик. Цифра в таблице. Он хотел чего-то настоящего. Чего-то, что имеет смысл. Чего-то, где ты — не винтик, а человек.

Скриптор уходил от суда. От несправедливого приговора, который висел над ним, как дамоклов меч. От системы, которая решила, что он виноват, хотя он знал — нет. От мира, где правда не имеет значения, а имеет значение только то, что написано в бумагах. Он ушел на фронт не из патриотизма — хотя и это было. Он ушел, чтобы доказать. Себе. Им. Всем. Что он — не тот, за кого его выставили.

Так что периодически за вечерним чаем или за куревом они говорили. Несколько раз — едва ли не всю ночь. О прошлом. О настоящем. О том, что будет потом — если будет.
— Грустный ты, — сказал Гюнтер, стряхивая пепел. — Что случилось?
Скриптор усмехнулся — криво, без радости.
— Первое сентября, — сказал он. — Дети в школу пошли.
Гюнтер кивнул. Он иногда забывал о датах. Календарь на войне — условность. Но Скриптор помнил. У него были дети. Трое. Две дочери и сын. Старшая — девятнадцать лет, в колледж пошла, в Инженерную школу одежды. Средняя — тринадцать, в седьмой класс. Младший — шесть, в школу только через год.
— Успел поздравить? — спросил Гюнтер.
— Успел, — кивнул Скриптор. — Еле успел. Наскреб денег. Старшей — на модную прическу. Средней — на новый рюкзак. Зарплата только десятого числа. Тридцатого и тридцать первого оставались крохи. Но — успел.
Он затянулся, выдохнул дым в темноту.
— А потом бывшая жена прямо наехала на меня в мессенджере, — добавил он тихо. — Написала: «У вас есть одежда и еда — все от армии. На что ты тратишь деньги? Почему не можешь оплатить старшей семестр обучения одним махом? Почему не можешь организовать все по высшему классу? Как раньше?»
Гюнтер затянулся, выдохнул дым в темноту. Помолчал.
— Знаешь, — сказал он наконец, — я понимаю, почему она так думает. На гражданке все так думают. Что у нас зарплата непомерная. Что мы тут миллионы копим. Что тратить некуда.
Он усмехнулся — горько, без радости.
— Каждое десятое число наш муравейник гудит, как растревоженный улей. День зарплаты. Настроение приподнятое, почти праздничное. Но если ПВД — это муравейник, то и живем мы по законам муравейника.
Скриптор слушал. Молчал. Понимал, что сейчас Гюнтер скажет что-то важное.
— Первый взнос, — продолжил Гюнтер, — на общак. Краны, чтобы умыться. Посуда, чтобы поесть. Стиральный порошок, чтобы не завшиветь. Миллион мелочей, без которых муравейник не работает. Сумма фиксированная. Не обсуждается.
Он затянулся.
— Второй взнос — на котел. Уставная еда позволяет не умереть с голоду. Но калорийно — не значит вкусно. А боец мечтает о борще. О жареной картошке. О котлетах, как у мамы. Поэтому закупаем продукты. Мясо, овощи, специи. Среди ребят ходит горькая шутка: «Из гражданских продуктов можно легко сделать уставную еду, а вот из уставных продуктов домашнюю еду сделать невозможно». В каждой шутке, как известно, есть доля шутки.
Скриптор усмехнулся. Знал эту шутку. Сам участвовал в этих сборах.
— Третий взнос, — сказал Гюнтер тихо, — самый большой. Снаряжение. Одежда на фронте — это не мода. Это средство выживания. Качественная ткань не садится после стирки в ледяной речке. Не расползается на коленях после переползания. Обувь — отдельная философия. Надежная, удобная и очень дорогая.
Он помолчал.
— Помнишь «лепестки»? — спросил он. — Сезон оторванных стоп. Осень, листва, грязь. Маленькие кусочки смерти повсюду. Хорошая обувь с жестким берцем держит удар. Минимизирует последствия взрыва. Цена такой обуви — половина месячного оклада. Но она стоит того.
Скриптор кивнул. Понимал. Сам покупал такую обувь. Сам знал цену.
— Так что же остается после этой нехитрой арифметики? — спросил Гюнтер. — Общак — минус. Котел — минус. Снаряжение — минус. Остаются копейки. И эти копейки ты отправляешь домой. С чувством угрызения совести. Пишешь: «Извини, я тут немного на себя потратил. Постараюсь экономить в следующий раз».
Он усмехнулся.

— Но это не траты, — сказал он тихо. — Это инвестиции в собственную выживаемость. Да, есть уставное имущество. Но оно позволяет просто не умереть от холода и голода. А на войне главное — выжить. И в этом вся разница.
Они помолчали. Курили. Смотрели в темноту.
— Вот и объясни это бывшей жене, — сказал Гюнтер. — Которая спрашивает: «На что ты тратишь деньги?»
Скриптор усмехнулся.
— Не объяснишь, — сказал он. — Не поймет. Для нее война — это картинка в телевизоре. А для нас — это жизнь.
Гюнтер кивнул. Потому что Скриптор был прав.
Они помолчали.
— Еще учительница вышла на связь, — продолжил Скриптор. — Знакомая. Без интима, просто человек из прошлой жизни. Написала: «У меня праздник. Можно бы было букет прислать?»
Гюнтер понимал, о чем говорит его боец.
В былые времена, когда рядовой Скриптор был крепко и уверенно стоящим на ногах уважаемым человеком по фамилии Калганов — легко. Интернет-доставка, заказ, оплата картой. Пара кликов — и цветы уже едут. Но сейчас денег не было. Вообще. Зарплата — десятого. А сегодня — первое. И в кармане — ноль.
— И что ты сделал? — спросил Гюнтер.
Скриптор усмехнулся — на этот раз почти весело.
— Сходил в поле, — сказал он. — Собрал букет ромашек. Сфотографировал. Отправил. Ей. И жене. И еще одной девушке.
Гюнтер поднял бровь.
— Еще одной?
Скриптор кивнул, затянулся.
— Студентка, — сказал он тихо. — Я у нее вел мастер-класс. Давно. В прошлой жизни. Мы... — он помолчал, подбирая слова. — Там сложно. Сложные отношения. Не то чтобы роман. Но и не просто знакомство. Что-то между. Что-то, что я сам до конца не понимаю.
Он выдохнул дым, посмотрел в темноту.
— Может, потом расскажу. Если доживу. Если будет смысл.
Гюнтер кивнул. Понимал. На войне много таких историй. Недосказанных. Недоделанных. Недолюбленных. Жизнь обрывается на полуслове — и ты остаешься с вопросами, на которые уже никогда не будет ответов.
— А учительница? — спросил Гюнтер. — Оценила букет?
Скриптор усмехнулся — горько, без радости.
— Нет, — сказал он. — Написала: «Спасибо, конечно. Но я ожидала большего». Вот так. «Ожидала большего». Я на войне. Собираю ромашки под дронами. Рискую жизнью ради фотографии цветов. А она — «ожидала большего».
Он помолчал.
— Зато та девушка, — продолжил он тихо, — студентка. Она написала: «Это самое красивое, что я видела. Спасибо. Береги себя». Вот и все. Три предложения. Но я перечитывал их раз десять. Потому что она поняла. Она не ждала «большего». Она поняла, что это — все, что я могу дать. И этого ей хватило.
Гюнтер представил эту картину и невольно улыбнулся. Скриптор — взрослый мужик, боец, рядовой — идет в поле собирать цветы. В зоне боевых действий. Где дроны, где «открытка» (открытая местность), где в любой момент может прилететь. Идет, срывает ромашки, складывает букет, делает фото. Как школьник. Как влюбленный идиот.
— Рисковал, — сказал Гюнтер.
— Рисковал, — согласился Скриптор. — Но что еще оставалось? Написать: «Извини, денег нет»? Это же унизительно. Для нее. Для меня. Для всех.
Он затянулся, выдохнул дым.

— Я шел по полю, — продолжил он тихо, — и думал: вот абсурд. Я на войне. Вокруг — дроны, мины, снаряды. А я собираю ромашки. Как дурак. Как персонаж из плохого фильма. Но я шел. Срывал цветы. Складывал букет. И знаешь, что самое странное?
— Что? — спросил Гюнтер.
— Мне было хорошо, — сказал Скриптор. — Впервые за долгое время. Я делал что-то нормальное. Человеческое. Не военное. Не боевое. Просто — собирал цветы для женщины. Как будто я снова — человек. А не солдат. Не рядовой. Не пушечное мясо.
Гюнтер кивнул. Понимал.
— Кроме них, кому еще отправил? — спросил он.
— Жене, — сказал Скриптор. — Не бывшей. Настоящей. Той, которая ждет. Которая не спрашивает, почему я не могу оплатить семестр одним махом. Которой просто важно, чтобы я был жив.
Он помолчал.
— И сыну, — добавил он тихо. — Младшему. Ему шесть. Он в школу только через год. Но я отправил ему фото. С подписью: «Папа собирал цветы и думал о тебе». Не знаю, поймет ли он. Но когда вырастет — может, вспомнит. Что папа на войне собирал ромашки. Для него.
Гюнтер докурил, бросил окурок, растоптал.
— Разберешься, — сказал он. — Если доживешь.
— Если доживу, — согласился Скриптор.
Они помолчали. Вдалеке снова ухнуло. Привычно. Фоново.
— Знаешь, что самое страшное? — сказал Скриптор вдруг. — Не то, что могу не дожить. А то, что если доживу — не смогу вернуться. Не физически. А — внутри. Я уже не тот человек, которым был. Я не смогу жить, как раньше. Ходить в офис, пить кофе, обсуждать проекты. Это все — мелочь. Пыль. А я видел смерть. Видел, как люди умирают рядом. Видел, как жизнь обрывается в секунду. И я не смогу притвориться, что это неважно.
Гюнтер молчал. Потому что знал: Скриптор прав.
На войне ты меняешься. Необратимо. Ты видишь то, что нельзя забыть. Ты делаешь то, что нельзя простить себе. Ты становишься другим. И когда вернешься домой — если вернешься — ты будешь чужим. Для семьи. Для друзей. Для самого себя.
Потому что война — это не эпизод. Это трещина. Которая проходит через всю твою жизнь. До и после. И ты никогда не сможешь склеить эти две части обратно.
— Три банана, — сказал Гюнтер вдруг.
Скриптор посмотрел на него.
— Что?
— Три черных банана, — повторил Гюнтер. — Новый год, двадцать третий. Под Лисичанском. Нам принесли гуманитарку. Три банана. Черные от мороза. Мы их разделили на шестерых. Ели медленно. И это был лучший Новый год в моей жизни.
Скриптор усмехнулся.
— Понимаю, — сказал он.
— Вот и я о том, — сказал Гюнтер. — На войне ценно только то, что помогает выжить. Три банана. Букет ромашек. Голос жены в трубке. Голос сына, который спрашивает: «Папа, когда ты вернешься?» Это — настоящее. А все остальное — мишура.
Они помолчали.
— Но мишура тоже нужна, — сказал Скриптор тихо. — Иначе зачем мы здесь?
Гюнтер не ответил. Потому что не знал ответа.
Они сидели на бревне, курили и смотрели в темноту. Вдалеке ухало. Привычно. Фоново. Как шум дождя.
На войне ты учишься ценить малое. Три черных банана. Букет ромашек. Одно слово от любимого человека. Один день без обстрелов. Один час сна.
Ты учишься отбрасывать лишнее. Праздники, юбилеи, статусы, деньги — все это теряет смысл. Остается только главное: жить. Дышать. Помнить, ради чего ты здесь.

Но когда вернешься домой — если вернешься — ты поймешь, что мир не изменился. Он остался прежним. С его мишурой, суетой, пустыми разговорами. И ты не сможешь вписаться обратно. Потому что ты изменился. Необратимо.
И тогда ты будешь сидеть на красном диване, который когда-то купил за три тысячи на «Авито», и вспоминать три черных банана. И букет ромашек, собранный под прицелом дронов. И понимать, что это — самое ценное, что у тебя есть.
Потому что на войне ты учишься жить. По-настоящему. Без лжи. Без масок. Без мишуры.
А в мирной жизни — ты просто существуешь.
И это — самое страшное.

Буферная зона

Вечер был тихим. Почти.
Вдалеке ухало — глухо, привычно, как шум дождя. Гюнтер полулежал в кресле, курил и смотрел в стену. Скриптор сидел на красном диване, закинув руку за голову. Чай в кружках остывал. Дым висел под потолком, медленно расползаясь по углам блиндажа.
Молчали. Это было нормально. На войне молчание — не неловкость. Это просто пауза. Передышка. Момент, когда можно не притворяться.
Гюнтер затянулся, выдохнул дым и сказал:
— Знаешь, есть такой синдром. Называется «синдромом эмигранта». Или, если по-научному, когнитивный диссонанс жертвы.
Скриптор приподнял голову, посмотрел на него.
— Суть одна, — продолжил Гюнтер. — Чтобы не сойти с ума от тоски или неправильности своего выбора, человек начинает ненавидеть то, что оставил. Он поливает грязью свою родину, ее порядки, ее людей. Это не про политику. Это про оправдание. Если там все было так ужасно, значит, я правильно ушел. Я не предатель, я беглец от ада.
Он помолчал:
— Им нужно обесценить дом, чтобы не было так больно.
Скриптор кивнул. Понимал.
— Я смотрю на нас, — сказал Гюнтер тихо, — и вижу тот же самый механизм. Только вывернутый наизнанку. Мы здесь, на передке. Чтобы оправдать свое присутствие, начинаем презирать тех, кто остался там — в нашей порядком забытой уже мирной жизни. Мы называем их «гражданскими», «диванными», «теми, кто не понюхал пороха». Мы смеемся над их бытом, их вечеринками, их ипотеками и их наивной верой в то, что жизнь — это мир.
Он затянулся:
— Мы злимся на их «мирную» жизнь. Мы осуждаем их образ жизни, чтобы доказать себе: мы здесь не просто так. Мы здесь, потому что мы — другие. Лучше. Тверже.
Скриптор потянулся с дивана, взял кружку, отхлебнул остывший чай:
— Но это ложь, — сказал он. — И где-то глубоко, на дне окопной правды, мы это знаем.
Гюнтер посмотрел на него:
— Да, — согласился он. — Ложь.
Скриптор поставил кружку на стол, закурил:
— Но, положа руку на сердце, — сказал он, — не для того ли мы это делаем, чтобы оправдать свой собственный выбор? Чтобы доказать себе, что их жизнь — ненастоящая, а наша — единственно верная?
Он выдохнул дым:
— Мы строим стену из презрения, чтобы не завидовать их спокойному сну.
Гюнтер кивнул. Молчал. Курил.
— Я думаю, это пройдет, — сказал он наконец. — Либо эти реальности должны пересечься. И это самое страшное.
Он посмотрел в стену, будто видел сквозь нее что-то далекое.
— Да, да, — продолжил он тихо. — Война полноправно придет в каждый мирный дом, как это было в Великую Отечественную. Она не спросит, готов ли ты, не постучит вежливо в дверь. Она просто войдет, сметая ипотеки, вечеринки и планы на отпуск.
Скриптор смотрел на него. Молчал.
— Тогда зачем мы здесь? — спросил он наконец.
Гюнтер затянулся, выдохнул дым, посмотрел на Скриптора.
— Возможно, мы и есть та самая буферная зона, — сказал он. — Мы — мембрана между двумя мирами. Мы принимаем на себя давление, чтобы реальности не пересеклись. Чтобы там, в

тылу, еще немного пожили в своем сладком неведении. Мы — громоотвод. Мы — плотина. И если мы падем, волна накроет всех.
Они помолчали. Курили. Вдалеке снова ухнуло.
Скриптор допил чай, поставил кружку на стол.
— Буферная зона, — повторил он тихо. — Мембрана.
Гюнтер кивнул.
— Да, — сказал он. — Мембрана.
И они снова замолчали. Потому что больше нечего было добавить.
Гюнтер встал с кресла, потянулся, хрустнув позвоночником. Подошел к шкафу. Это был не просто шкаф, а потертый временем, видавший виды «мебельный» ветеран, скрипящий на все лады при каждом движении дверцы. Гюнтер провел ладонью по шершавой деревянной поверхности, прежде чем открыть створки.
Когда-то, в прошлой, гражданской жизни, этот ритуал означал выбор галстука под цвет глаз, ремня под цвет туфель и носков, которые не должны были бросаться в глаза. Сейчас логика была другой. Логика была фронтовой.
Внутри пахло пылью, старой тканью и чем-то неуловимым, что Гюнтер называл «запахом жизни». Здесь, среди камуфляжа расцветки «мультикам», не было места моде. Каждая вещь была инструментом, амулетом или памятью.
Он перебирал плечики, и в голове всплывали не фасоны, а события.
— Эта куртка... — пробормотал он, нащупывая плотную ткань с затертым воротником. — Счастливая. По нам тогда FPV прилетел, а боевая часть не сработала. Только пылью посекло.
Он бережно отложил куртку в сторону.
Следующим в руки попался китель. На груди, чуть левее сердца, красовалась аккуратная дырочка от шила. Портной тогда крякнул, но сделал все идеально. Гюнтер усмехнулся. Это была дырка под очередную медаль.
— Вещи на фронте имеют свои истории, — сказал он вслух, не оборачиваясь к Скриптору. — Возможно, они обладают и памятью, и потому стараются не подводить своих хозяев.
Скриптор с дивана кивнул, хотя Гюнтер этого не видел.
— Я, как и все здесь, стал суеверным, — продолжил Гюнтер. — Это был не страх перед черной кошкой, а культ. Культ под названием «жизнь».
Он закрыл шкаф, присел на табурет, чтобы натянуть обувь.
— Странно было вспоминать, — сказал он тихо, — как там, на гражданке, люди размышляют о смысле жизни и порой сводят с ней счеты. Здесь, в приграничье, смысл жизни измеряется совсем другими категориями.
Он помолчал, натягивая ботинок.
— Помнишь курский лес? — спросил он. — Четверо ребят, находясь в полном окружении, держали оборону в течение месяца. Они ели снег, экономили патроны и молились своим «счастливым» разгрузкам. Они держались, чтобы жить. А в это же время в Москве молодой художник, у которого были руки, ноги и мирное небо, сделал последний шаг в бездну. Просто потому, что не захотел жить дальше.
Гюнтер зашнуровал ботинок, поднял голову.
— Инфляция цены жизни, — сказал он. — Там она стоила копейки, здесь — все.
Скриптор слушал. Молчал.
Гюнтер встал, топнул ногой, проверяя обувь.
Здесь, на фронте, обувь — это не дань моде и не статус. Это очень важный винт, на котором держится вся конструкция выживания. Опытный глаз без ошибки определит статус бойца. Часы Garmin на запястье выдают в тебе командира уровня роты или взвода — людей, которые отвечают за координацию и жизни. Те, кто уже за руку здоровается с генералами, обычно носят механику. Но вариативность всегда присутствует.
Так вот: хорошая обувь — это больше, чем визитка бойца. Она спасает от осколков, от «триппера» в окопах и от переломов на камнях.

Тут автору впору вмешаться и пояснить: опрелости и прочие проблемы, вызванные окопной жизнью, мы называли одним грубым, но емким словом — «триппер». Такой вот солдатский юмор и сленг в одном термине.
В дверь постучали.
— Можно войти?
— Можно Машку за ляжку, — тихо ответил Гюнтер, не отрываясь от своих мыслей. — Входи.
На пороге возник Добрыня, молодой боец из пополнения. Лицо — растерянное, сапоги — в грязи, будто он только что мерил ею глубину всех окопов сразу.
— Товарищ командир, у нас горячая вода на ПВД отсутствует. И стиральная машина сломалась.
— А солярий работает? — с улыбкой спросил Гюнтер.
— Что? — Добрыня явно пожалел, что вообще решил обратиться с таким вопросом к командиру.
— Шучу! — Гюнтер махнул рукой. — Иди, разберемся.
Добрыня кивнул и вышел. Дверь закрылась.
Гюнтер затянулся, выдохнул дым.
— Декабрь двадцать второго, — сказал он вдруг. — Холод тогда иногда разбавлялся солнечными днями. От этого дороги и тропы раскисали и становились непроходимыми. Бойцы выстраивались в цепочку по несколько человек и вытягивали друг друга за руки. Тимбилдинг по-армейски. Не дать, ни взять. Ночи же оставались студеными, что для этих мест было непривычно. В штурмовом взводе у меня почти все были «первоходами», и опыта выживания в таких условиях не было ни у кого.
Он помолчал.
— Через неделю начались проблемы. Первая — вода. Вернее, ее мизерные запасы. Полтора литра в сутки на человека, и то — не всегда. Арифметика выживания проста и сложна одновременно: заварить два раза в день лапшу, запить горячим чаем. На гигиену не оставалось. Пробовали собирать дождевую воду, но осадков предательски мало. Эх, как жадно потом пил воду. Как губка впитывал прохладную жидкость.
Гюнтер затянулся.
— Первые «трехсотые» — не боевые потери, — сказал он тихо. — Днем ноги в резиновых сапогах прели. Не помогали даже портянки, неумело накрученные на ноги. Ночью — ноги практически примерзали к сапогам. Первым «ушел» Железка. Его ступни стали похожи на два бурых валенка и источали зловонный запах гнили. Идти он не мог. Ребята несли его на тряпичных носилках.
Он выдохнул дым.
— Железка был молодым парнем, — продолжил Гюнтер. — Еще в Гудермесе посмеивался надо мной: «Чего тебе, старик, не сиделось в твоей Москве?» Сейчас он лежал беспомощный и тихо плакал. «Гюнтер, мне отрежут ноги? Ты же шаришь в медицине». — «Нет», — резко сказал я и, пожелав Железке счастливого пути, отвернулся.
Он помолчал.
— С тех пор я знал: обувь — это не просто часть одежды. Это наравне с автоматом. Вооружение, которое не должно давать клин или осечку.
Скриптор кивнул. Понимал.
Гюнтер невесело усмехнулся, продолжая это своеобразное путешествие по своим мыслям:
— Мыши... О них написаны тысячи рассказов. Мы познакомились с ними сразу после заселения в окоп. Можно терпеть, что они жрут все подряд. Можно терпеть их присутствие и запах. Веселье начиналось, когда ты зарываешься в спальный мешок и накрываешься брезентом, чтобы сберечь тепло.
Он затянулся:
— Мыши тоже любят тепло. И всегда там, где человек. Ты уставший, пытаешься заснуть под грохот прилетов, а мыши устраивают на тебе драки за теплое место. Сначала пытаешься прекратить это безобразие, потом засыпаешь коротким сном под визг и писк мышиной братии,

выдыхая микробов лихорадки. Которая выводит из строя бойца минимум на неделю, если есть под рукой антибиотик.
Он выдохнул дым, посмотрел на Скриптора.
— Вот такой быт, — сказал он тихо.
Скриптор кивнул. Закурил и вдруг усмехнулся:
— Знаешь, командир, — вдруг сказал он, — я тут вспомнил свою прошлую жизнь. Как я успокаивал себя тем, что покупал ненужное.
Гюнтер посмотрел на него.
— Шкафы ломились, — продолжил Скриптор. — Красивые сочетания. Рубашки под пиджаки. Туфли под ремни. Галстуки под цвет глаз. Реклама же тоже кричала: «Новое! База! Must have! Сезон! Тренд!» И я покупал. Не потому, что нужно было. А потому, что это успокаивало. Болезнь шоппинга. Терапия потреблением.
Он затянулся, выдохнул дым.
— Это было как наркотик, понимаешь? — продолжил он, и голос его стал жестче. — Ты заходишь в магазин, и тебе кажется, что вот сейчас ты купишь эту рубашку — и жизнь наладится. Вот сейчас ты купишь эти туфли — и станешь успешным. Вот сейчас ты купишь этот пиджак — и все увидят, что ты чего-то стоишь. Но это ложь. Ты покупаешь, приходишь домой, вешаешь в шкаф — и через неделю снова идешь за новым. Потому что пустота внутри никуда не девается. Ее не заполнить шмотками.
Он помолчал, затянулся.
— Правда, когда я только зашел на фронт, я тоже поддался этому магазинному волнению, — сказал он. — Набрал два баула вещей. Термобелье, носки, кофты, штаны, куртки, перчатки. Все самое лучшее, самое дорогое. Я думал: вот сейчас я экипируюсь как спецназовец из журнала — и буду готов ко всему. И что? Полтора баула так и лежали по сути неразобранные. И до сих пор лежат. Все это оказалось не нужно. Вся эта куча тряпок — просто груз. Мертвый груз, который ты таскаешь за собой, потому что жалко выбросить. Потому что дорого. Потому что «вдруг пригодится».
Гюнтер кивнул. Понимал.
— Первую неделю на ПВД я ходил вообще в одном и том же, — продолжил Скриптор. — И спал в этой же одежде. И — удивительно — вони не чувствовал. Может, организм в этих условиях вел себя как-то иначе? Или просто мозг отключил эту функцию, потому что было не до того. Ты весь день на ногах, ты устал, ты хочешь жрать и спать — и тебе плевать, что на тебе одна и та же футболка шестой день подряд.
Он усмехнулся — горько, без радости.
— Вообще фронт оказался удобным в этом плане, — сказал он. — Короткая стрижка — практично. Борода — в целом тоже. Бриться не надо. Щеголять не перед кем. Военная форма одежды универсальна. Не надо подбирать галстук под цвет... кстати, под цвет чего?
Он помолчал, затянулся.
— В мирной жизни я не любил галстуки, — продолжил он. — Носил водолазки под пиджаки. В теплое время — футболки. Сколько их у меня было! Какие яркие цвета! Красные, синие, зеленые, желтые. Целая радуга в шкафу. Я менял их каждый день. Я подбирал их под настроение. Я думал, что это важно. Что это — я.
Та прошлая, мирная жизнь — с ее галстуками, пиджаками и яркими футболками — казалась теперь бойцу Скриптору чужой. Как будто это был не он. Как будто это был кто-то другой.
Кстати, по сути так и было: уважаемый и известный общественный деятель Калганов канул в Лету. Здесь, в клубах табачного дыма в блиндаже сидел рядовой с позывным Скриптор.
Он выдохнул дым.
— А потом приехал сюда. И понял, что все это — мишура. Пыль. Бумага. Ты можешь носить одну и ту же футболку неделю — и тебе плевать. Ты можешь не бриться месяц — и тебе плевать. Ты можешь не смотреться в зеркало — и тебе плевать. Потому что здесь важно только одно: выжить. Все остальное — не имеет значения.
Гюнтер слушал. Молчал.

— Вчера зашел в ВК, — продолжил Скриптор. — Листал ленту. И видел посты от модного магазина одежды. Там молодой парень жеманно рассказывал о необычайной важности широких лацканов на пиджаке. И высмеивал людей, которые носят «не те», неправильные костюмы. Широкий лацкан обязателен, контрастный галстук необходим. Узкие брюки — моветон. И масса других важных советов.
Он усмехнулся — зло, почти с ненавистью.
— Один был действительно дельным, — добавил он. — Не носить модные ботинки на босу ногу. Вот это — да. Это важно. Это спасет тебе жизнь. Особенно если ты идешь по красной дорожке на премьеру фильма.
Скриптор засмеялся — коротко, резко, без радости.
— Попробовали бы они здесь на босу ногу носить что-то, — сказал он. — Хотя... шлепанцы в блиндаже. И вторые — уличные — в теплое время. Чтобы гулять по лесу, в котором находится ПВД. Вот это — да. Вот это — модно. Вот это — тренд сезона.
Он помолчал, затянулся.
— Я смотрел на этого парня, — продолжил он тише, — и думал: он не виноват. Он просто живет в своем мире. Где широкие лацканы — это важно. Где контрастный галстук — это необходимо. Где узкие брюки — это позор. Он не знает, что есть другой мир. Где важно только одно: чтобы твои ботинки не сгнили на ногах. Чтобы твоя куртка не промокла под дождем. Чтобы брюки не порвались на колючке. Он не знает. И, может быть, это хорошо. Может быть, ему лучше не знать.
Гюнтер кивнул. Понимал.
— Война когда-нибудь закончится, — сказал он вдруг. — Я не знаю когда, но знаю точно: на улицах наших городов вернется поколение «мультикам». Кто-то без рук, на которых могли бы красоваться дорогие Garmin. Кто-то на протезах, обутых в дорогие «Лаваши». А возможно, ветер будет разносить по асфальту бумажное объявление, приклеенное скотчем к остановке: «Продам тактическую обувь. Неношенную. Спросить Анну».
Он помолчал.
— И прохожие, спешащие на работу, не поймут, что за этой строчкой стоит чья-то оборванная жизнь.
Скриптор слушал. Молчал.
— Но те, кто вернется, будут знать цену жизни, — продолжил Гюнтер тихо. — У них будет свой «счастливый китель» с дырочками под ордена, своя правда и своя тишина.
Они помолчали. Курили. Вдалеке снова ухнуло.
Скриптор взял кружку, отхлебнул остывший чай.
— Своя правда, — повторил он тихо. — И своя тишина.
Гюнтер кивнул. Докурил, бросил окурок в пепельницу. Посмотрел на Скриптора.
— Но есть одна вещь, которая мучает меня больше, чем смерть, — сказал он тихо.
Тот поднял голову.
— Я часто спрашиваю при встрече бойца: «Кем ты был в мирной жизни?» — продолжил Гюнтер. — И знаешь, для меня это феномен. Люди в тридцать, сорок лет с трудом могут ответить одним предложением. Они мнутся, подбирают слова. «Ну, это… работал…». И чем больше человек находится на фронте, тем сложнее этот момент. Личность стирается. Профессия становится пустым звуком.
Он помолчал, закурил новую сигарету.
— Война — это катарсис, — сказал он. — Ты приходишь в этот мир боевых распоряжений, и твой личный бэкграунд становится неважным. Здесь не важно, был ты директором или грузчиком. Остаются только навыки, пригодные на службе. Остальные заслуги и регалии светской жизни опадают, как осенняя листва. Остается голый ствол — ты и твоя способность убивать или выживать.
Скриптор слушал. Молчал.
— Кем пришел на фронт Гюнтер? — спросил он вдруг.
Гюнтер усмехнулся — криво, без радости.

— Менеджером, управленцем, коммерсантом? — ответил он. — Кто бы знал, что из всех навыков, приобретенных за пятьдесят лет, только одно — увлечение радио — даст мне путевку в новую жизнь военного связиста.
Он затянулся, выдохнул дым.
Скриптор вспомнил — как Гюнтер сидел на ящике из-под патронов, разбирался в инструкции сканера радиоэфира. И в его глазах была не тоска по прошлому, а странное, почти детское удовлетворение. Он нашел себя. Не в резюме, не в должности. В эфире.
— И все эти бесконечные самообучения, курсы, тренинги, «личностный рост» и «эффективные коммуникации», — сказал Скриптор вслух, — просто оказались бесполезным нагромождением строчек в резюме. Пылью. Бумагой.
Гюнтер кивнул.
— Гюнтер, — спросил Скриптор, — а кем ты был до войны?
Гюнтер посмотрел на него долгим взглядом. В нем не было гордости. Только усталая честность.
— Я был никем, — сказал он. — Я был тем, кто ходил на работу, чтобы купить вещи, которые мне не нужны. Я был тем, кто улыбался на совещаниях. Я был... звуком. А здесь я — связь. Я — голос, который слышат. Я — тот, без кого не полетит БПЛА и не придет приказ.
Он замолчал, поправил очки.
— А теперь я боюсь возвращаться, — добавил он тихо. — Потому что не знаю, кем я там буду. Смогу ли я снова стать... никем?
Скриптор не ответил. Потому что ответа не было.
Они помолчали. Курили. Вдалеке снова ухнуло.
— Мы — буферная зона, — сказал Скриптор наконец. — Мы — люди без прошлого, у которых есть только настоящее. И, может быть, именно поэтому мы так яростно защищаем тех, кто там. Потому что они хранят нашу память о том, кем мы были. Или кем мы так и не стали.
Гюнтер кивнул. Молчал.
— Война придет в каждый дом, — продолжил Скриптор. — Но пока мы здесь, она не пройдет дальше нас. Мы — плотина. Мы — листва, которая опадает, чтобы дерево стояло.
Он затянулся, выдохнул дым.
— И, может быть, это и есть ответ на вопрос «зачем», — сказал он тихо. — Наша злость — это не синдром, а просто цена за то, чтобы у них была возможность жить так, как мы их за это осуждаем.
Гюнтер посмотрел на него. Кивнул.
— Да, — сказал он. — Цена.
Они помолчали. Курили. Пили остывший чай.
Вдалеке снова ухнуло. Привычно. Фоново. Как шум дождя.
Скриптор сидел на красном диване, закинув руку за голову. Гюнтер полулежал в кресле, подаренном одним из бойцов. Дым висел под потолком, медленно расползаясь по углам блиндажа.
Они были буферной зоной. Мембраной между двумя мирами. Плотиной, которая держала волну. Листвой, которая опадала, чтобы дерево стояло.
И они знали: когда война закончится — если закончится — они не смогут вернуться. Не физически. А — внутри. Потому что они уже не те, кем были. Они — другие. Навсегда.
Но пока они здесь, война не пройдет дальше них.
Пока они здесь, там, в тылу, еще можно жить в своем сладком неведении. Еще можно спорить о широких лацканах и контрастных галстуках. Еще можно покупать ненужные вещи и верить, что это — счастье.
Пока они здесь.
Гюнтер затянулся, выдохнул дым.
— Пока мы здесь, — повторил он вслух.
Скриптор кивнул.
— Пока мы здесь, — согласился он.
И они снова замолчали.

Потому что больше нечего было добавить.

Варгнот

Ближе к полуночи все разошлись.
Гюнтер сидел в блиндаже и смотрел в телефон. На экране — фотография. Огромный дог лежит на диване, положив голову ему на колени. Пес смотрел в камеру с той преданностью, которая бывает только у собак. Его хозяин, которого в прошлой, мирной жизни звали Владимир, улыбнулся. Провел пальцем по экрану. Фотография сменилась другой — он сам, в костюме, на фоне высотки на Кутузовском. Москва. Другая жизнь. Та, что осталась там.
Он закрыл глаза. И память услужливо перебросила его назад.
Москва. Кутузовский проспект. Недалеко от музея Победы. Владимиру только что исполнилось пятьдесят. Юбилей отметили скромно — жена, дети, несколько друзей. Торт, шампанское, дежурные тосты. «За здоровье», «За успех», «За семью». Он улыбался, кивал, благодарил. А внутри было пусто.
Квартира на Кутузовском. Панорамные окна. Вид на Москва-Сити. Мебель из Италии. Машина в подземном паркинге. Успешный менеджер. Карьера. Деньги. Все, что положено мужчине в его возрасте и положении. И абсолютная, звенящая пустота.
Каждое утро он просыпался в шесть. Кофе, бутерброд, наспех сложенный. Душ. Костюм. Галстук. Машина. Офис. Совещания, отчеты, планерки. Обед в каком-нибудь хорошем кафе. Снова совещания. Вечером — домой. Ужин перед телевизором. Новости. Сериал. Сон. И так каждый день. Годами.
Он не жаловался. У него было все. Квартира, семья, работа, деньги. Чего еще желать? Но почему-то каждое утро, глядя в зеркало, он не узнавал себя. Кто этот человек в костюме? Что он делает? Зачем он живет?
Единственное, что приносило радость, — это прогулки с догом. Гюнтер. Огромный черный пес с висячими ушами и умными глазами. Владимир назвал его в честь персонажа из старого фильма. Просто понравилось имя. Сильное. Мужское. Немецкое.
Каждый вечер, если не было совещаний, Владимир брал Гюнтера и шел гулять в парк Победы. Там, среди деревьев, фонтанов и памятников, он мог дышать. Там он не был менеджером, не был мужем, не был отцом. Там он был просто человеком с собакой. Гюнтер шел рядом, не натягивая поводок. Иногда останавливался, нюхал что-то, смотрел на хозяина — мол, пойдем дальше? Владимир улыбался, гладил его по голове. Они шли молча. Пес не требовал слов. Пес просто был рядом.
— Ты единственный, кто меня понимает, — говорил Владимир вслух. — Единственный, кому я нужен просто так. Не за деньги, не за статус, не за что-то. Просто потому, что я есть.
Гюнтер смотрел на него и, казалось, кивал.
Февраль 2022 года. Владимир сидел в офисе и смотрел в окно. По телевизору говорили про Украину. Про войну. Коллеги обсуждали, кто куда поедет, кто останется, «Что делать?».
Владимир молчал. А вечером пришел домой, сел на диван. Гюнтер положил голову ему на колени. Смотрел преданно, тихо.
— Что мне делать? — спросил Владимир вслух. — Сидеть здесь? Ждать? Делать вид, что ничего не происходит?
Пес молчал. Но в его глазах было что-то, что Владимир понял сразу. Иди.
Он не знал, зачем. Не знал, что его там ждет. Не знал, вернется ли. Но он знал одно: если он не пойдет, то окончательно умрет здесь, в этой квартире, в этом костюме, в этой жизни, которая давно перестала быть его.
Сентябрь 2022 года. Владимир сидел в баре. Пил «Балтику-7». Напротив — пухлый мужчина с заплывшими глазами. Очередной знакомый, который пытался его отговорить:

— Мужик, ну зачем тебе эта война? Давай я тебе дам сто баксов, и ты обещаешь мне, что останешься дома. Давай ещё закажем и бахнем. Какая война? Украинцы — наши братья, скоро всё закончится...
Владимир смотрел сквозь него. В пустоту лица, в пустоту собственного существования, в пустоту сказанного за вечер. Сотый раз. Он уже не помнил, который по счёту стакан. Пена засыхала на губах, во рту стоял привкус металла. Или это было предчувствие?
Телефон завибрировал, заиграла мелодия. «Ты где? Я не могу до тебя дозвониться. Иди домой, завтра тебе лететь в Грозный. Ты пьешь? Боже!»
Владимир смерил взглядом остатки пива и бросил бармену:
— Счёт, пожалуйста.
Он обвел взглядом помещение. И на миг ему показалось, что за столами сидят не обычные пьяницы, а рыцари в доспехах. Или викинги. Их лица были суровы, на столах вместо кружек стояли щиты, а в руках — мечи. На сегодня хватит.
Выходя из бара, Владимир чувствовал, как с него слетает кожа менеджера, как распрямляются плечи, как в груди загорается что-то давно забытое. Он шел по ночной Москве, и каждый шаг отдавался в сердце — гулко, тяжело. Он готовился принять свое последнее воплощение. Свою главную роль. Бывший менеджер Владимир шёл по мокрому асфальту, и в кармане лежал билет до Грозного. А на душе было так легко, как не было уже много лет. Утром он не вернется. Утром он станет кем-то другим. Главное — пусть его жизнь будет яркой. Хотя бы в финале.
Утро. Шереметьево. Объявлена посадка на рейс номер 323 авиакомпании «Азур» по маршруту Москва — Грозный. Владимир поднялся. Ноги казались чужими, при этом он отчетливо чувствовал каждый позвонок, каждый вздох, каждое биение сердца. В наушниках играл «Rammstein», но он не слышал музыки — только шум собственной крови. За его спиной, в прозрачном пластиковом контейнере на ленте багажной камеры, уплывала его верная спутница — сумка, набитая тактическими штанами, термобельем и носками, которые он купил вчера в «Спортмастере». Оруженосец едет воевать. Ему стало смешно от этой мысли. И тут же страшно, потому что смех был горьким.
В руке он сжимал посадочный талон. Бумага была теплой от пальцев. На сумке с ручной кладью чернели буквы: «Гюнтер». Он вписал позывной в графу «Имя». Девушка за стойкой не удивилась, только кивнула, словно видела такое каждый день. Позывной — это маленькая смерть, подумал Владимир. Ты перестаешь быть собой и становишься кем-то другим. Кто-то другой поедет убивать или быть убитым. А я, Владимир, останусь здесь, в этом терминале, с запахом вчерашнего пива и преданным взглядом дога.
Он прошел в рукав. Стеклянный коридор дрожал от гула турбин. За иллюминаторами — серое, болезненное московское небо.
Варгнот. Волчья ночь. Почему-то это слово крутилось у него в голове — у человека, начитавшегося скандинавских мифов.
Ощущение пробуждения воинов под зов Севера.
Все это казалось ему сейчас не бредом уставшего мозга, а заклинанием. Варгнот. Может быть, это имя того, кто ждет его в Грозном? Или того, кто не даст умереть?
Люди, которые могут вселяться в тела животных, управлять ими и видеть их глазами. Он и становился таким: Гюнтером, догом в обличье человека.
В салоне самолета пахло синтетической чистотой и страхом. Десятки мужчин в гражданском, с такими же посадочными в руках. Никто не смотрел друг на друга. Каждый был в своей капсуле. Владимир сел у иллюминатора и пристегнул ремень. Перед глазами — крыло, покрытое инеем. Вспомнилось, как в детстве он облизывал металлические качели на морозе. Язык прилипал. Больно. То же самое чувствовал он сейчас — боль от прикосновения к неизбежности.
— Молодой человек, — стюардесса наклонилась с улыбкой, робкой и профессиональной. — Кофе, чай, вода?
— Воды, — сказал он. И, помедлив, добавил: — Пожалуйста.
Она протянула стаканчик. Вода была теплой, пластмассовой на вкус. Он сделал глоток и подумал: в последний раз? В последний раз я пью теплую воду на борту самолета. В последний

раз меня везут на войну. В последний раз я — Владимир. Дальше будет Гюнтер. Или не будет никого.

Самолет начал разгон. Владимир вдавился в кресло. За окном серые плиты перрона побежали, сливаясь в одно монотонное полотно. Отрыв. Гул моторов стал громче, пронзительнее. Он закрыл глаза и увидел дога — огромного, с висячими ушами, который сидел у двери и смотрел ему вслед. В глазах пса не было укора. Только тоска. Прощай, Гюнтер. Я взял твое имя, чтобы оно грело меня там. Чтобы, когда кто-то крикнет «Гюнтер!», я знал, что зовут не просто солдата. Зовут того, кто должен вернуться к своему псу.

Взлет. Владимир открыл глаза. Москва уходила вниз, распадаясь на игрушечные кварталы, реки-нитки, поля, покрытые ржавой осенней травой. Через 3 часа он будет в Грозном. Потом — на полигоне. Потом — там. Время снова ускорится, как и обещалось. Но сейчас, на этой высоте, в герметичной банке «Азура», оно замерло.

Он выдохнул. Взял телефон. На экране была фотография — Гюнтер (пес) лежит на диване, положив голову на его колени. Владимир улыбнулся.

— Ну что, брат, — прошептал он. — Давай будем жить.

И нажал «отправить» сообщение жене: «Взлетел. Все хорошо. Целую». Семь букв, которые, возможно, станут последними. Но он решил, что это неважно. Важно, что он их написал. Важно, что он есть. Есть Владимир, который умирает, и Гюнтер, который рождается в шуме турбин и в запахе керосина.

Самолет пробил облака, и вдруг — невероятно, невозможно — в иллюминатор ударил солнечный свет. Он был режущим, слепящим, но живым. Владимир прищурился и подумал, что в мире, где есть такой свет, даже Варгнот когда-нибудь станет просто словом, которое он скажет собаке на прогулке. Если вернется.

Гюнтер открыл глаза. Утро. Блиндаж. За стеной шла война. Их война. Их жизнь. Он посмотрел на экран. Фотография дога. Москва. Кутузовский. Другая жизнь. Та, что осталась там. Он убрал телефон. Встал. Пора на позиции.

— Гюнтер! — крикнул кто-то из коридора. — Связь нужна!

Он кивнул. Пошел. Владимир остался в прошлом. Здесь был только Гюнтер. И пес, который ждал его дома.

Соленая награда

Гюнтер вернулся с позиций поздно вечером. Устал. Не физически — морально. Связь работала с перебоями, координаты передавались через раз, а дроны противника висели в небе, как стервятники над падалью. Он сбросил бронежилет, повесил автомат на гвоздь, сел на красный диван. Закрыл глаза.
Скриптор сидел напротив, смотрел в телефон. Молчал. Гюнтер знал: Скриптор тоже думал о своем. О прошлом. О том, кем он был. О том, кем стал. О том, вернется ли когда-нибудь назад.
Они оба были людьми из другой жизни. Гюнтер — менеджер с Кутузовского, который променял костюм на камуфляж и позывной на имя своего пса. Скриптор — общественный деятель, блогер, почти политик, которого вычеркнули из списков и памяти.
Они оба пришли сюда добровольно. Они оба искали что-то. Правду. Смысл. Себя.
Они оба нашли войну.
Гюнтер открыл глаза. Посмотрел на Скриптора. Тот поднял голову, встретился взглядом. Кивнул. Понимал.
— Завтра награждение, — сказал Гюнтер тихо.
Скриптор усмехнулся — горько, без радости.
— Тебе дадут медаль. Мне — нет. Как всегда.
Гюнтер кивнул. Молчал. Потому что это была правда. И спорить с ней было бесполезно.
... Все построились и ждали награждения.
Называли фамилию — и награждаемый, чеканя шаг, подходил к генералу, получая на китель очередную железку. Гюнтер стоял в общем строю и чувствовал, как от этой торжественности у него сводит скулы. Не от напряжения — от того, что все это казалось каким-то спектаклем. Правильным, красивым, но — спектаклем.
За четыре года войны неизбежно становишься циником по отношению к орденам и медалям. Сначала ты гордишься каждой наградой, потом начинаешь замечать закономерности. Штабника можно безошибочно определить по количеству железок на груди — чем дальше от передовой, тем больше блеска. А рассуждения на тему госнаград все больше походят на разговор нумизматов. «Эта вот — редкая, эта — красивая, а вот эта, ведомственная, — вообще беспонтовая».
От этого Гюнтеру было особенно противно. Таких «собирателей» он про себя называл «орденопросцы». Слово грубое, но точное.
Он стоял, смотрел, как генерал прикалывает очередную медаль очередному бойцу, и думал о том, что война — это не про награды. Война — это про то, что остается внутри. Про шрамы, которых не видно. Про ночи, когда не можешь уснуть, потому что перед глазами — лица тех, кого уже нет. Про то, как ты привыкаешь к смерти и начинаешь бояться не ее, а того, что перестал бояться.
От этих мыслей он чуть не пропустил свою фамилию.
— Лейтенант Гюнтер!
Он вздрогнул, словно его выдернули из сна, и вышел из строя. Старался держать спину ровно, хотя внутри все кипело. Медаль участника СВО. Смешнее не придумать. Четыре года войны за плечами, госпитали, «двухсотые» на руках, бои, в которых он терял друзей и чудом оставался жив сам, а родное ведомство только сейчас признало его «непосредственно участником». Словно до этого он где-то в стороне стоял. Наблюдал.
Ладно. Медаль на грудь, а не кулаком по голове. И то хорошо.
Генерал был немолодым, с усталым лицом и крепкими руками. Он аккуратно пристегнул булавку к кителю, оттянув плотную ткань, чтобы не уколоть.
— Служу России и спецназу «Ахмат»! — прокричал Гюнтер, как положено, хотя в горле стоял ком.

Генерал кивнул и посмотрел ему в глаза. Не для галочки, а по-настоящему. И Гюнтер понял: этот человек знает. Знает, что такое война, что такое терять людей, и что медаль — это не награда, а просто кусок металла. Напоминание о том, что ты выжил. А другие — нет.

Он вернулся в строй, чувствуя на груди легкий, почти невесомый холодок. Медаль была новенькой, блестящей, еще не потертой. Не такой, как орден «Ахмата», который висел рядом — потускневший, с царапинами, но родной. Настоящий.

В стороне от строя стоял Скриптор — рядовой Калганов — и смотрел на церемонию. Он не завидовал — просто наблюдал. Гюнтер получил медаль. Заслужил. Калганов знал его недолго, но уважал. Таких, как Гюнтер, на фронте немного — тех, кто не ломается, не озлобляется, не превращается в машину. Кто остается человеком, даже когда вокруг ад.

Калганов думал о своем. В его родном городе был знак за участие в СВО. Небольшой, но красивый — с гербом, с надписью. С двадцать четвертого года этот знак лежал и ждал его. Документ был оформлен, все подписи стояли, печати на месте. Но ему его так и не вручили.

Позывной он выбирал сам. Сначала хотели дать «Калган» — от фамилии. Он отказался. Смешно звучало. Корень, трава, лекарство. Как будто он не боец, а аптекарь. Товарищ из Москвы, филолог, посоветовал: «Скриптор. Латынь. Писатель. Повествователь. Тот, кто пишет историю». Калганову понравилось. Он действительно писал — до войны вел блог, публиковал статьи. А теперь писал историю. Своими руками. Своей кровью.

Так вот. Знак был выписан. Документ лежал в канцелярии. Все готово. Но не вручили.

«Не надо пока», — сказали начальники. Какие-то. Без имени. Калганов даже не знал, кто именно принял это решение. Так всегда в их системе. «Есть мнение», «нет пока решения», «бумажка должна вылежаться». Как вино в погребе. Только вино со временем становится лучше. А бумажка — просто пылится. И человек, который ждет, тоже пылится. И злится.

К ним в часть уже приезжали из его родного города — привозили гуманитарку и награды. Торжественно. С речами. С фотографиями для местных новостей. Всем вручили — кроме него. Хотя он был в списках. Просто его фамилию вычеркнули.

Перестраховка. Ну как же — ведь он обвиняемый по левому, «нарисованному» делу. Ушел на фронт «искупать кровью». Дело приостановили, но не закрыли. Висит над ним, как дамоклов меч. В любой момент могут возобновить.

Неужели он, участник СВО, значка от родного города не заслужил? Выписали, но... должна быть отмашка. Вдруг он своими «грязными руками» значок испачкает. Честь чиновничьего мундира.

Калганов усмехнулся — горько, без радости. Он помнил, как какие-то певцы, артисты, деятели культуры получали этот знак. Причем некоторые ни дня не провели в зоне СВО. Наверное, просто «хорошие люди».

Было ли ему обидно? Нет. Скорее, противно. Как от грязи под ногтями, которую не отмыть. Как от того, что ты знаешь правду, а вокруг — ложь, и все делают вид, что это нормально.

Но воевал он не за них. И даже не за город, который быстро забыл о нем. Скорее, за себя. Чтобы пересобрать себя. Чтобы доказать — себе, не им — что он не тот, за кого его выставили.

Калганов посмотрел на Гюнтера. Тот стоял в строю с новой медалью. Завтра они оба пойдут на БЗ. На боевую задачу, которая может оказаться последней. И война не спросит, у кого медаль, а у кого — нет. Она спросит только одно: готовы ли вы идти дальше?

И они были готовы.

Потому что настоящая награда — это не железка на груди. Это когда ты можешь посмотреть в зеркало и не отвести взгляд. Это когда ты знаешь, что сделал все, что мог.

После церемонии все разошлись. Кто-то пошел отмечать, кто-то побежал звонить родным. Гюнтер остался один в казарме. Ему не хотелось ни с кем говорить. Не хотелось притворяться, что он рад.

Он сидел на койке и смотрел на свой китель, висящий на спинке стула. Рядом с потертым орденом «Ахмата» теперь блестела новенькая медаль. Одна — настоящая, со следами времени и боев. Другая — холодная, чужая, еще не успевшая стать частью его жизни.

Он думал о том, сколько честных служак придут после войны домой. Будут по праздникам надевать парадную форму, а там — пусто. Ни орденов, ни медалей. Только невидимые шрамы на душе. Они не умеют красиво говорить, не умеют «правильно» оформлять подвиги. Они просто делали свою работу. Страшную, грязную, мужскую работу.

Какая награда ждет их в мире, где правят штабники и орденопросцы?

Гюнтер устало усмехнулся. Встал, подошел к стулу, снял с кителя новую медаль, повертел в пальцах. Положил на тумбочку. А потом снова посмотрел на орден «Ахмата». Тот висел чуть криво, но намертво, как влитой.

Вот это — настоящее, подумал он. А остальное — пыль.

Он выключил свет и лег на койку, не раздеваясь.

Есть миф о том, что римским легионерам платили солью. Красивая легенда. На самом деле легионеры получали жалованье монетами. Но термин «salarium» действительно существовал — часть денег шла на закупку соли, жизненно необходимого продукта для консервации пищи в походах. Со временем слово стало означать просто «зарплата».

Но солдатская награда — это не монеты. И не медали, которые вручают спустя годы.

Солдатская награда — это пот, который заливает глаза, когда ты тащишь раненого товарища на себе, и он невыносимо тяжелый, но ты идешь, потому что остановиться — значит умереть.

Это слезы, которые ты прячешь, когда хоронишь друга. Когда стоишь у свежей могилы и плачешь внутри, чтобы никто не видел, что ты сломался.

Это кровь — своя и чужая, — которая въедается в землю, в руки, в душу. Которая напоминает тебе: ты жив. А они — нет.

Все соленое. Пот. Слезы. Кровь.

Вот это — настоящее жалованье войны. Вот это — настоящая награда.

Медали — потом. Если доживешь. Если вспомнят. Если не забудут оформить бумаги.

А пот, слезы и кровь — здесь и сейчас. Каждый день. Без отчетов. Без процедур. Без права на слабость.

Соленая награда. Самая честная из всех. И самая горькая.

Иногда они возвращаются...

После церемонии награждения Гюнтер и Скриптор вернулись на базу поздно вечером. Оба были молчаливы. Гюнтер получил медаль — долгожданную, но пустую. Скриптор стоял в стороне и наблюдал — как всегда. Без наград. Без признания.
Они сидели в блиндаже, пили остывший чай, курили. Молчали. Каждый думал о своем. О том, что было. О том, что будет. О том, зачем они здесь.
Утром пришел приказ. Гюнтера пригласили на совещание.
Пригласили — это, конечно, громко сказано. Скорее, поставили задачу явиться к назначенному времени в зал с видеоконференцсвязью. Тема, заявленная в повестке, звучала до зубовного скрежета знакомо: «Восстановление инфраструктуры мобильной связи в приграничных районах».
Гюнтер шагал по коридору администрации области, и звук его уставных ботинок тонул в ворсистом ковролине. Он чувствовал себя инородным телом. От него, наверное, пахло сыростью блиндажа, оружейной смазкой и потом, въевшимся в ткань формы. Здесь пахло иначе — кондиционированным воздухом, дорогим парфюмом и скрипучей кожей новых туфель.
Он остановился перед дверью зала. Вздохнул. Открыл.
Когда он вошел, его уже ждали. Они.
Люди из прошлой жизни Гюнтера.
За длинным полированным столом, отражающим холодный свет ламп, сидели важные директора компаний и главы районов. Белоснежные рубашки, казалось, светились сами по себе. Наглаженные до остроты кинжала стрелки на дорогих брюках. И неизменный атрибут каждого уважающего себя чиновника — дорогая (и не всегда шариковая — роллер, а то и перьевая) ручка, лежащая перед блокнотом с идеально ровными краями.
Гюнтер замер на пороге. Дежавю накрыло его, как волна.
Где-то в прошлой жизни, когда его звали не Гюнтер, а Владимир, и он носил точно такие же рубашки, он уже сидел на подобных совещаниях. Только тогда он сидел по другую сторону баррикад — среди тех, кто «ставил задачи», а не среди тех, кто будет их выполнять под обстрелами.
От этого дежавю Гюнтеру стало неуютно. Он машинально одернул китель, словно пытаясь спрятаться в своей форме от этого мира, к которому он когда-то принадлежал. И от которого ушел. Навсегда. Как он думал.
Но прошлое, оказывается, имеет привычку возвращаться. В самый неожиданный момент.
Он прошел к своему месту — в конце стола, подальше от президиума. Сел. Положил перед собой планшет с картами и схемами. Посмотрел на лица вокруг.
Они не изменились. Те же холеные, уверенные, сытые лица. Те же дорогие костюмы. Те же дорогие часы на запястьях. Те же дорогие ручки в руках.
Только он изменился. Он больше не был Владимиром. Он был Гюнтером. Лейтенантом связи. Человеком, который четыре года живет в блиндаже, спит в одежде и просыпается от звука прилетов.
В это время рядом с администрацией стоял джип. Старенький, уставший, но надежный кореец на автомате. Именно поэтому за рулем сидел Скриптор — механику он водить не умел.
Рядовой Калганов, оставивший свою фамилию в прошлой, условно мирной жизни, ждал командира. Гюнтер ушел на совещание, а он остался в машине. Не потому, что ему «велено было ждать» — у них с командиром были нормальные человеческие отношения. Просто так сложилось. Гюнтер пошел решать вопросы связи, а Скриптор ждал. Как всегда.
Он достал телефон, открыл мессенджер. Листал переписки. Одну. Другую. Третью.
Ничего его не радовало.

Он закрыл мессенджер. Убрал телефон в карман. Посмотрел в окно.
Город жил. Но это не была мирная жизнь. Здесь постоянно прилетали дроны. Били и ракетами. Полгода назад по площади перед администрацией ударили — прямо во время предновогоднего праздника. Погибло 14 человек, в том числе двое детей. Более ста человек получили ранения.
Скриптор помнил тот день. Помнил крики. Помнил кровь на снегу. Помнил, как они приехали — он и Гюнтер — и помогали разбирать завалы. Вытаскивали тела. Живых. Мертвых. Детей.
Он закрыл глаза. Вздохнул. Открыл снова.
Вспомнил, как они спорили с Гюнтером по дороге сюда. Еще утром. Еще когда все было нормально. Еще когда он не знал, что сейчас будет сидеть в машине и злиться на весь мир.
— Командир, — сказал Скриптор, не отрывая взгляда от дороги. — Давай выдвинем ребят на награды области. Они же защищают ее. Заслужили.
Гюнтер посмотрел на него. Помолчал.
— Не положено, — сказал он наконец.
— Как это не положено? — Скриптор нахмурился. — Они же воюют. Рискуют жизнью каждый день. Разве это не повод?
— Повод — да, — согласился Гюнтер. — Но по процедуре мы же не можем говорить, что мы хорошие, и просить. Сами должны дать.
Скриптор чуть не ударил по тормозам. Чуть не сорвался на крик. Еле сдержался.
— Ненавижу эту цитату из Булгакова! — выдохнул он сквозь зубы. — «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»
Гюнтер усмехнулся — криво, без радости.
— Ты про Воланда? — спросил он. — Из «Мастера и Маргариты»?
— Да, про него! — Скриптор сжал руль так, что побелели костяшки пальцев. — Если ты не говоришь о себе — никто не вспомнит. Скромность — кратчайший путь в безвестность. Вот и все.
Гюнтер помолчал. Посмотрел в окно.
— Воланд говорил не об этом, — сказал он тихо. — Он говорил: не унижайся, выпрашивая что-то. Если человек действительно достоин, силен, прошел испытания — сильные мира сами это заметят и предложат помощь, награду, решение проблемы. То есть идея не в пассивности, а в том, что ценность и достоинство привлекают внимание.
Скриптор засмеялся — зло, резко, без радости.
— Чье внимание? — спросил он. — И чьи ценности? Их родных и близких! Сильным мира сего плевать на нас с вами. Дадут другу. Сыну. Брату. Любовнику. Любовнице. Вот кому дадут. А достойные пусть ждут. Пусть молчат. Пусть не просят. И сам Булгаков сильных мира сего просил, кстати. Писал письма Сталину. Просил разрешения уехать. Просил работу. Просил жизнь. Так что не надо мне про «не просите».
Гюнтер кивнул. Понимал.
— Вы же сами знаете, командир! — продолжил Скриптор, и голос его дрогнул. — По своим наградам. Вернее, их небольшому количеству. До слез прямо.
Гюнтер посмотрел на него. Молчал.
— Со мной то все понятно, — добавил Скриптор тише. — Я же подследственный. Мне не дадут. Никогда. Даже если я тут десять лет прослужу. Потому что «не согласовано». Потому что «есть мнение». Потому что «бумажка должна вылежаться».
— Ну ладно, — сказал Гюнтер. — Дело то приостановлено.
— Но не закрыто, — устало возразил Скриптор. — Пока я его не закрыл, не прекратил — метка на мне. Как полупрокаженный. Возобновить его не могут — но и снять не дадут. Висит. И все. Дело закроют, когда меня ранят или награду за подвиг дадут. Вот тогда. А пока — висит.
Он помолчал. Вздохнул.
— В общем, мне не дадут, — сказал Скриптор тихо. — Но вам и ребятам — это заслуженно. Давайте попробуем. Ну хотя бы попробуем.
Гюнтер кивнул. Но ничего не обещал.

А потом они приехали. Гюнтер вышел из машины. Пошел на совещание. Торопился.
А Скриптор остался один. Сидел в машине и вспоминал этот разговор. И злился. На себя. На Гюнтера. На систему. На весь этот мир, в котором все не так, как должно быть.
Он вспоминал совещания — и как он не любил их. Ненавидел. Особенно когда много людей сидят — и никто не слушает. Все «втыкают» в телефоны. Тратят время. Свое. Чужое. Не важно.
У него был любимый анекдот-шутка про совещания. Он рассказывал его ребятам в блиндаже, и они смеялись. Горько. Но смеялись.
«Ты одинок? Скучно? Хочется поспорить или доказать кому-то, что ты прав? Просто созови совещание — и жизнь сразу наполнится смыслом!».
Он усмехнулся — без радости. Потому что это была правда. Совещания — это способ создать видимость работы, не делая ничего. Способ потратить время, не приняв ни одного решения. Способ поговорить о проблеме, не решая ее.
И самое страшное — это слово. «Согласовать».
Как он ненавидел это слово.
Награды должны согласовать. Медаль от родного города ему не согласовали — выдачу ее. Документ был готов. Все подписи стояли. Все печати на месте. Но не согласовали. Почему? Потому что он подследственный. Потому что «есть мнение». Потому что «не надо пока».
Долго не согласовывали уход на СВО. Он писал заявления следователю. По процедуре. Ждал. Писал еще одно. Ждал. Писал третье. Ждал. Месяц. Два. Три.
А следователь глумился. «Не могу, мол, отпустить». — «Почему?» — «Ну...» — и загадочно поднимал или закатывал глаза. «Не согласовали».
Может, дело было в украинской фамилии следователя? Ну кто скажет тебе правду? И про «почему не отпускали», и про то, «кто заказал».
А дело висело. А жизнь проходила. А он сидел и ждал, когда ему «согласуют» право рисковать жизнью за Родину.
Гуманитарщики неделями согласовывали список заявок от них. Бойцам нужны были термобелье, медикаменты, инструменты, доски, наконец. Срочно. Прямо сейчас. А гуманитарщики «согласовывают». Неделю. Две. Три. А потом просто исчезают. Не отвечают. Не пишут «нет». Просто исчезают. Как будто их никогда и не было. Множество мест и людей, которые неделями маринуют твои бумаги, заявления, запросы.
Он сжал кулаки. Ударил по рулю. Один раз. Второй. Третий.
Вообще Скриптор стал безумно раздражительным.
Он это знал. Чувствовал. Видел по себе. Раньше он был спокойным. Терпеливым. Мог выслушать. Мог понять. Мог простить.
Теперь — нет. Теперь он срывался на ровном месте. Теперь он злился на все и всех. Теперь он не мог слушать пустые слова, не мог терпеть бюрократию, не мог ждать, когда кто-то «согласует» то, что должно было быть сделано еще вчера.
Война изменила его. Не физически — хотя и это тоже. А внутри. Она сделала его жестче. Злее. Нетерпимее. Она научила его ценить время — потому что время на войне измеряется не часами, а жизнями. Она научила его ненавидеть пустые слова — потому что слова на войне ничего не стоят, если за ними нет дела.
Он сидел в машине и смотрел на администрацию. На эти высокие окна. На эти белые стены. На эти дорогие машины на парковке.
И думал: «Что они там делают? О чем говорят? Какие решения принимают? И почему эти решения так долго доходят до нас?»
Он не знал. И не хотел знать. Потому что знал одно: там, внутри, в этих кабинетах с кожаными креслами и дорогими ручками, сидят люди, которые никогда не были на войне. Которые никогда не видели смерть. Которые никогда не держали на руках раненого товарища и не чувствовали, как из него уходит жизнь.
И эти люди решают, кому дать награду, а кому — нет. Кому помочь, а кому — отказать. Кому «согласовать», а кому — «не согласовать».
Он достал телефон. Открыл мессенджер. Листал переписки. Одну. Другую. Третью.

Ничего его не радовало.
Он закрыл мессенджер. Убрал телефон. Закрыл глаза.
Ждал. Как всегда. Ждал командира. Ждал, когда они вернутся туда, где все просто и понятно.
На войну. Домой.
Тем временем в зале началось совещание.
Слова вылетали из ртов важных чинуш пулеметной очередью, усиленной чувствительным микрофоном. Громко, уверенно, но абсолютно бессмысленно.
— ...согласно дорожной карте, интеграция частотного ресурса позволит в кратчайшие сроки...
— ...мы проработали вопрос логистики, но существуют объективные сложности с подрядчиками...
— ...необходимо рассмотреть возможность субсидирования операторов из резервного фонда...
Гюнтер слушал и чувствовал, как внутри него нарастает глухое раздражение. Не злость — именно раздражение. Как от комара, который жужжит над ухом и не дает уснуть.
«Боже, как вы далеки от народа», — подумал он, глядя на холеные лица докладчиков.
Ему вдруг стало интересно: кому на самом деле принадлежит эта фраза? Кажется, ее приписывали то ли Пушкину, то ли Лермонтову, то ли еще кому-то из классиков. В прошлой жизни он, наверное, знал это точно. Сейчас — не помнил.
Он достал телефон, быстро набрал запрос. Ответ пришел мгновенно: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» — В.И. Ленин. Статья «Памяти Герцена», 1912 год. Ленин говорил так о декабристах: подчеркивал, что их движение было делом узкого круга дворян и не опиралось на широкие народные массы.
Гюнтер усмехнулся — горько, без радости. «Узок круг этих революционеров», — повторил он про себя. — «Страшно далеки они от народа».
Да какая разница, кто это сказал и про кого, когда сидишь в окопе, а напротив тебя люди, для которых «отсутствие связи» означает лишь то, что они не могут обновить ленту в своем дорогом смартфоне. А для бойцов на передовой отсутствие связи — это смерть. Потому что нельзя передать координаты. Нельзя попросить помощь.
Но здесь, в этом зале, этого не понимали. И не хотели понимать.
Губернатор, бывший боевой офицер в генеральском звании, периодически бросал на Гюнтера тяжелые взгляды. Казалось, он вступил с ним в безмолвный диалог.
Гюнтер видел, как от этих пустых, раздутых по объему докладов у генерала кровью наливаются глаза. Бывший командир с позывным «Спартанец», прошедший не одну войну, сейчас сидел в дорогом костюме и кожаных туфлях, но в его взгляде читалась беспомощность человека, чей управленческий инструментарий вдруг сократился до одной-единственной фразы: «Я вас выслушал».
После очередного особенно пафосного выступления губернатор снова посмотрел на Гюнтера. На этот раз взгляд был дольше обычного.
«Что будем делать, брат?» — словно говорил этот взгляд. — «Люди сидят без связи. А эти...» — генерал едва заметно дернул желваком, — «была б моя воля, я бы этих коммерсантов в бараний рог скрутил».
Гюнтер едва заметно кивнул. То ли соглашаясь, то ли просто давая понять, что он понял.
Наступила его очередь.
Он поднялся. Расправил плечи. Голос его прозвучал неожиданно резко в этом стерильном зале:
— Товарищ генерал-майор! Командир взвода связи, лейтенант Гюнтер. Докладываю.
Он не стал лить воду. За четыре года войны он уяснил главное правило: доклад должен состоять не из пустых фраз, а из конкретного плана действий. Люди, сидящие в зале, могли позволить себе красноречие. Он — нет. Ему с этим планом предстояло возвращаться туда, где вышки сотовой связи не «испытывают технические сложности», а методично вышибаются противником.
Он говорил коротко и жестко. Конкретные точки. Конкретные сроки. Конкретные силы и средства. Что нужно. Где нужно. Когда нужно. И главное — чего не нужно.

Не нужно «дорожных карт». Не нужно «интеграции частотного ресурса». Не нужно «субсидирования операторов из резервного фонда».
Нужны вышки. Нужны люди, которые их поставят. Нужна охрана, которая их защитит. Нужны деньги, которые пойдут не на «проработку вопроса», а на закупку оборудования. Вот и все.
Чиновники за столом заерзали. Им было неуютно от этой окопной конкретики, которая разбивала их красивые формулировки, как осколочный снаряд — стеклянный фасад офисного центра.
Гюнтер смотрел на эти лица и думал: «Господи, где все эти люди живут? Их не научит ни голод, ни холод, ни война. Потому что они там, где эти явления отсутствуют. Они всю жизнь провели в тепле и сытости, и никакая война не пробьет их бронированную скорлупу из регламентов и должностных инструкций».
Он снова перевел взгляд на губернатора.
«Возможно, и он скоро забудет, что был боевым офицером с позывным Спартанец», — подумал Гюнтер. — «Снимет этот костюм, наденет другой, еще дороже. Или наоборот — привыкнет к нему настолько, что перестанет замечать, как тот сковывает движения. И станет окончательно топ-менеджером в кожаных туфлях, который смотрит на таких, как я, как на неизбежное, но досадное недоразумение».
Совещание шло к концу. Голоса докладчиков сливались в монотонный гул, похожий на жужжание мух над кухонным столом.
Гюнтер смотрел в окно. Там, за стеклом, был город. Город с работающими светофорами, открытыми кофейнями и людьми, идущими по своим делам. Обычная... нет, не мирная жизнь. Здесь тоже прилетали дроны. Здесь тоже били ракетами.
Но здесь все еще можно было жить так, будто войны нет. Можно было ходить в кофейни. Можно было смотреть в телефон. Можно было говорить о «дорожных картах» и «интеграции частотного ресурса».
А где-то там, в нескольких десятках километров, заканчивалась эта почти мирная жизнь и начиналась другая. Та, где связь — это не «телекоммуникационная услуга», а единственная ниточка, соединяющая с миром. Та, где каждый день может быть последним. Та, где нет места красивым формулировкам и дорогим ручкам.
«Больше я сюда не пойду», — твердо решил он. — «Тошно. Мне в моем блиндаже уютнее. Там, по крайней мере, все честно. Там враг понятен и виден. А здесь... здесь приходится воевать с теми, кто должен быть в тылу, но почему-то сидит впереди — в мягких креслах и с дорогими ручками».
Когда совещание закончилось, Гюнтер первым вышел из зала. Он шел по коридору, и звук его уставных ботинок снова тонул в мягком ковролине. Но теперь этот звук его не раздражал. Наоборот — он напоминал ему, кто он такой. Где его место. Куда он возвращается.
Он возвращался на фронт.
Там его ждали. Там его звали не Владимиром, а Гюнтером. И там, как ни странно, ему было гораздо спокойнее, чем среди людей из его прошлой жизни.
Дверь администрации распахнулась. Гюнтер вышел. Шел быстро, резко, как будто хотел поскорее оказаться подальше от этого здания. Скриптор увидел его лицо — жесткое, закрытое — и все понял.
Гюнтер открыл дверь, сел в машину. Захлопнул дверь. Молчал.
Скриптор завел двигатель. Выехал со двора администрации. Город остался позади.
Они ехали молча. Скриптор не спрашивал. Гюнтер не рассказывал. Просто ехали. По знакомой дороге. Туда. На фронт. Домой.
Скриптор бросил взгляд на командира. Тот смотрел в окно. Лицо — каменное. Скулы ходят ходуном, челюсти как будто поскрипывают. Руки — на коленях, кулаки сжаты.
— Ну что, командир? — спросил Скриптор наконец. — Дали добро?
Гюнтер помолчал. Потом усмехнулся — криво, без радости.
— Дали, — сказал он. — «Проработаем вопрос». «Рассмотрим в установленном порядке». «Примем меры». Вот что дали.

Скриптор кивнул. Понимал.
— Значит, ничего, — сказал он тихо.
— Ничего, — согласился Гюнтер.
Они помолчали. Ехали. Дорога была пустой. Серое небо. Серый асфальт. Серые поля по обочинам.
— Знаешь, — сказал Гюнтер вдруг, — я сегодня вспомнил, кем я был. До войны. Владимир. Топ-менеджер. Сидел на таких же совещаниях. Говорил те же слова. «Проработаем вопрос». «Рассмотрим в установленном порядке». «Примем меры». И думал, что это нормально. Что так и должно быть.
Он помолчал.
— А потом пришел сюда. И понял, что все это — пыль. Бумага. Пустота. Что настоящая жизнь — это не совещания и не отчеты. Это когда ты каждый день делаешь выбор — и отвечаешь за него. Это когда ты знаешь, что от тебя зависят жизни. Это когда ты можешь посмотреть в зеркало и не отвести взгляд.
Скриптор кивнул. Молчал. Понимал.
— Я тоже вспомнил, кем я был, — сказал он тихо. — Калганов. Общественный деятель. Блогер. Писал яркие посты. Ходил на мероприятия. Думал, что это важно. Что это — я.
Он помолчал.
— А потом пришел сюда. И понял, что все это — мишура. Пыль. Бумага. Что настоящая жизнь — это когда ты каждый день рискуешь. Когда ты знаешь, что можешь не вернуться. Когда ты делаешь то, что должен. Не потому, что тебе заплатят или наградят. А потому, что иначе нельзя.
Гюнтер посмотрел на него. Кивнул.
— Да, — сказал он. — Иначе нельзя.
Они помолчали. Ехали. Дорога уходила вперед. Серая. Пустая. Знакомая.
Впереди была война. Их дом. Их жизнь. Их правда.
Флешбек закончился.
Впереди снова была война.
И они были готовы.

Шрам

После совещания Гюнтер и Скриптор вернулись на базу. Оба были молчаливы. Оба были разочарованы. Оба понимали: система не меняется. Она перемалывает тех, кто пытается ей противостоять.

Они сидели в блиндаже. Гюнтер лежал на красном диване, закрыв глаза. Скриптор сидел напротив, смотрел в стену. Молчали.

Гюнтер уснул. Скриптор остался один. Он достал телефон. Связи не было. Он все равно включил галерею. Пролистал фотографии.

Вот он в студии федерального канала. Вот он на сцене перед тысячей человек. Вот он в «Президент-Отеле», за столом с людьми в костюмах. Вот он улыбается в камеру. Вот он жмет руки. Вот он существует.

Он выключил телефон. Убрал в карман. Посмотрел на руку. На татуировку.

Patria te semper obliviscetur.

Он набил эту татуировку через месяц после того, как все рухнуло. Когда понял, что назад дороги нет. Что он больше не тот человек, которого показывали по телевизору. Что он больше никто.

Александр Калганов.

Общественный деятель. Блогер. Немного политик. Уважаемый человек, которого были рады видеть в прямых эфирах на федеральных каналах. Человек, чье мнение имело вес. Человек, с которым здоровались первыми. Человек, чей номер был в телефонах у тех, кто решал.

И все оборвалось в один день.

Телефон сначала взорвался сотнями сообщений и звонков: «Как же так? Не верим!» А потом все пропали. А потом 90 процентов отказались — от него, от общения, от проектов. Работы не было. Зато была давящая тишина и ужас впереди.

Он сам выбрал этот путь. Сам подписал, сам пришел. Никто не гнал. Никто не держал. И от этого было особенно горько.

Он хотел восстановить имя. Вернуть репутацию. Смыть пятно, которое посадили на него бывшие партнеры — те, с кем он пил чай в «Президент-Отеле» и обсуждал различные законодательные инициативы федерального значения. Его сдали. Подставили. Выставили виноватым в том, к чему он не имел касательства — вернее, имел, но не так и не в той степени.

В России бизнес прощает многое, политика — ничего.

Бизнесмен теряет деньги и может начать с нуля. Политик теряет имя и становится пустым местом. С ним перестают здороваться. Его не узнают в лицо. Его номер удаляют из телефонов.

Это хуже тюрьмы.

Хотя и тюрьма — не сахар. Калганов знал это. Знал, что в тюрьме часто и много сидят невиновные. Тех, у кого отжимают бизнес. Тех, у кого выбивают показания. Тех, кто просто оказался не в том месте, не в то время, не с теми людьми.

Но в тюрьме хотя бы есть приговор. Есть срок. Есть стены, решетка, конвой. Есть что-то конкретное, с чем можно бороться. Можно нанять адвоката. Можно искать свидетелей. Можно доказывать невиновность. Можно выйти — и начать заново.

А когда тебя вычеркивают из политики — ты исчезаешь. Не физически. Хуже. Ты исчезаешь из реальности. Из списков, из переговоров, из памяти. Ты становишься никем.

И самое жестокое — ты часто не знаешь, кому в какой «башне» ты перешел дорогу. Можешь всю жизнь терзаться в неведении. Перебирать в голове встречи, звонки, фразы. Кто? Когда? За что?

И не найти ответа. Потому что тебе его никто не даст. Есть только молчание. Удаленные контакты. Пустые взгляды тех, кто вчера жал тебе руку.

Ты просто больше не существуешь. И никто не скажет, почему.

Он помнил тот день. Звонок. Голос в трубке — официальный, сухой.

— Александр Сергеевич, вам нужно приехать. Есть вопросы.
Он приехал. Думал, что это ошибка. Думал, что сейчас все разъяснится. Думал, что его статус, его связи, его прошлое — все это защитит.
Не защитило.
Его обвинили. В чем — он до сих пор не понял до конца. Документы, деньги, схемы. Все было размыто, туманно, но при этом железобетонно. Его не посадили. Но и не оправдали. Его просто вычеркнули. Из списков, из эфиров, из жизни.
Телефон взорвался. Друзья, коллеги, партнеры. «Не верим! Как же так?»
Он отвечал на звонки. Объяснял. Доказывал. Просил поддержки.
А потом звонки прекратились. Сообщения перестали приходить. Номера удалялись из телефонов. Люди, с которыми он работал годами, вдруг переставали узнавать его на улице. Проекты закрывались. Контракты разрывались. Деньги исчезали.
Он остался один. С пустым телефоном, пустым календарем и пустой душой.
Работы не было. Зато была давящая тишина и ужас впереди.
Он решил уйти на фронт.
Это было единственное, что оставалось. Кровью смыть вину — мнимую или реальную, уже неважно.
В стране, где правда принадлежит только тем, кто коснулся дна, иного пути не было. Любое понимание мира обесценивается, если не добыто в зоне предельного напряжения.
Кто из тех, кого слушают, не прошел через разрушение? Кто из русских писателей не воевал или хотя бы не сидел? Общество отказывает в праве на серьезность всем, кто не был раздавлен и не выжил. Глубина измеряется не глубиной мысли, а глубиной шрама.
И Калганов знал это. Знал всегда — еще когда сидел на совещаниях, попивая минеральную воду без газа и поглядывая на часы. Знал и боялся этого знания.
Теперь он шел получать свой шрам. Не для того, чтобы писать книги. Для того, чтобы иметь право говорить.
Но даже это оказалось непросто.
Он думал: ему скажут «спасибо». Он думал: человека, готового умереть за страну, везде примут с распростертыми объятиями.
Какая наивность!
В военкомате на него смотрели как на помеху. Потом были собеседования — странные, уклончивые, с людьми в мундирах, которые задавали не те вопросы. Их интересовало не то, что он умеет и чем может быть полезен. Их интересовало, кто он такой, чтобы хотеть искупить вину.
Они словно оберегали от него армию. Словно боялись, что его кровь будет чем-то грязнее крови других.
Или — Калганов думал об этом долгими ночами — они просто не хотели победы России. Не хотели, чтобы такие, как он, получали право на правду.
«Пятая колонна» — это не миф. Это люди за соседним столом, люди в соседнем кабинете, люди, которые подписывают или не подписывают бумаги. Они не носят вражеской формы. У них другие знаки отличия. И они гораздо ближе, чем казалось из московского офиса.
Он все-таки прорвался. Через звонки, старые связи, которые еще работали, через друзей друзей, которые помнили его настоящего.
Прорвался и оказался здесь.
Первые недели были адом. Не от войны. От себя. От того, что он не понимал, кто он теперь.
Не политик. Не блогер. Не общественный деятель. Кто? Солдат? Но он не умел воевать. Водитель? Но он не умел водить под огнем. Кто он здесь?
Он нашел ответ не сразу. Он нашел его в глазах других. В тех, кто тоже пришел сюда не за деньгами и не за славой. В тех, кто тоже бежал от прошлого. В тех, кто тоже искал правду. Или хотя бы право на нее.
Он стал Скриптором.
Позывной дали случайно — кто-то увидел, что он пишет что-то в блокнот.

— Скриптор, — сказал командир. — Писака.
Он не обиделся. Наоборот. Он принял это имя. Оно было честнее, чем «Калганов». Оно не несло груза прошлого. Оно было чистым.
Он стал другим. Он чувствовал это физически. Не просто мышцы окрепли, а кожа огрубела. Что-то изменилось в нем на клеточном уровне.
То, что раньше казалось важным — встречи, звонки, обсуждения, стратегии, репутационные риски, — теперь не значило ничего.
То, что раньше не замечал — глоток воды, кусок хлеба, минута тишины, — стало всем.
Война и ты.
Он думал об этом, лежа в темноте. О том, что правда — это не то, что ты знаешь. Правда — это то, что ты прожил.
Можно прочитать сотню книг о войне и не понять ничего. Можно провести неделю под землей — и узнать о себе больше, чем за всю предыдущую жизнь.
Он понял, почему в России слушают только тех, кто прошел через боль. Потому что боль — это единственное, что нельзя подделать.
Можно купить диплом, можно купить должность, можно купить эфир. Но нельзя купить шрам. Нельзя купить право говорить от имени тех, кто умер. Нельзя купить правду.
И он получил это право. Не по своей воле. Не по своему выбору. Но он получил его. Кровью. Грязью. Страхом. Болью.
Скриптор открыл глаза. Блиндаж. Гюнтер спал напротив. За стеной шла война. Их война. Их жизнь.
Он посмотрел на телефон. Связи не было. Он убрал его в карман. Встал. Пора на позиции.
— Скриптор! — крикнул кто-то из коридора. — Машину готовь!
Он кивнул. Пошел.
Калганов остался в прошлом. Здесь был только Скриптор. И татуировка, которая напоминала ему, кто он такой.
Человек государев. Которого государство забудет. Но который не забудет о своем долге.
Потому что правда — это не то, что тебе говорят. Правда — это то, что ты прожил.
И он прожил свою. До конца.
Впрочем, впереди была новая жизнь. И новая правда.

Люди государевы

Через час Скриптор снова вез Гюнтера куда-то «по задачам».
Ехали молча. Дорога была серой, пустой, знакомой. Небо — низким, свинцовым. Поля по обочинам — голыми, промерзшими.
Гюнтер смотрел в окно. Скриптор вел машину. Молчали.
Потом Гюнтер заговорил. Медленно. Задумчиво. Как будто собирал мысли по крупицам.
— Понимаешь, Калганов, — начал Гюнтер, не отрывая взгляда от окна. — Саша. Мы люди государевы. И навсегда ими останемся. Как бы ни било нас родное государство — это будет ощущаться кончиками пальцев. Это уже навсегда встроено в нашу ДНК. Это чувство ответственности за страну, за Родину, за государство мы пронесем до конца своих дней. До последнего вздоха.
Он замолчал на секунду, словно проверяя, доходит ли сказанное до собеседника.
— Высокопарно? Да, так и есть, — усмехнулся Гюнтер, но в усмешке не было ни капли иронии над собой. Только горечь и какая-то упрямая, несгибаемая вера.
Скриптор молчал. Сжимал руль. Смотрел на дорогу. Потом не выдержал.
— Зачем тебе все это, Гюнтер? — спросил он тихо, но резко. — Разве ты не видишь? Как в песне поется: «Родина щедро поила меня березовым соком» — и это все, что она может дать тебе за службу. Березовый сок. Вот и все.
Гюнтер повернулся к нему. Посмотрел. Молчал.
— «Родина всегда о тебе забудет», — добавил Скриптор тише. — Это не я придумал. Мне это когда-то один очень большой человек сказал.
Гюнтер поднял бровь:
— Кто?
Скриптор усмехнулся — горько, без радости:
— Большой начальник. В 22-м году. СВО уже началась. Мне поручили большой проект — поехать в недавно освобожденные наши города. Исконно русские земли. Я тогда был... ну, не только общественным деятелем. Менеджером. Организатором. Ехал туда налаживать связи, помогать людям, восстанавливать инфраструктуру. Был риск не вернуться. Серьезный риск.
Он помолчал. Вспоминал:
— И вот я прощаюсь с этим большим начальником. Устало так пошутил: «Надеюсь, если что случится со мной — Родина меня не забудет». А он посмотрел на меня. Долго так. И сказал: «Родина всегда о тебе забудет». И добавил: «Запомни это. Крепко накрепко». И, в общем, не обманул — как показали дальнейшие события в моей жизни.
Гюнтер молчал. Слушал.
— Я тогда запомнил это на всю жизнь, — продолжил Скриптор тихо. — А потом, когда случилась у меня беда — когда дело завели, когда все отвернулись — я всегда вспоминал эти слова. И даже придя на фронт, сделал себе татуировку. На латыни. Patria te semper obliviscetur. «Родина всегда о тебе забудет».
Он засучил рукав. Показал. На предплечье — четкие черные буквы. Ровные. Как приговор.
Гюнтер посмотрел на татуировку. Кивнул. Понял.
— Знаешь, Саша, — сказал он медленно, — есть такая фраза: «Никто не вспомнит, кто первый крикнул "ура"». Или по-другому: «История помнит победителей, а не тех, кто жертвовал собой». Это правда. Это так и есть.
Он помолчал.
— Но дело не в этом. Дело не в том, вспомнят тебя или нет. Дело в том, что ты делаешь это не для того, чтобы тебя вспомнили. Ты делаешь это потому, что иначе нельзя.
Скриптор усмехнулся — зло, резко:
— Красиво говоришь, командир. Но я все равно не понимаю: зачем?
Гюнтер посмотрел на него. Долго. Серьезно. Потом заговорил.

— Ты спросил, зачем это мне нужно? Отвечу. У меня есть дети. У них будут внуки. И эти внуки должны гордиться нами, как мы гордимся своими дедами, которые отстояли нашу Родину в Великую Отечественную, чтобы мы могли говорить на русском языке и думать, как великая нация.
Он произнес это так, будто чеканил каждое слово на металле.
— В этом, мне кажется, и скрыта русская душа. Гордость за прошлое, настоящее и будущее. Правители меняются, а Россия вечна, пока мы есть — люди государевы.
Скриптор слушал, чуть склонив голову. В уголках губ пряталась усмешка — не злая, скорее усталая. Он знал Гюнтера достаточно, чтобы понимать: тот не играет. Не рисуется. Он действительно так думает. И именно это делало его слова одновременно и нелепыми, и пугающе искренними.
— Тебе, Гюнтер, надо на федеральном канале вещать, — наконец сказал он, качая головой. — Сильная речь. Сильного человека.
— Наверное, — согласился Гюнтер без тени обиды. — Но меня так воспитали. И ты такой же. Только у тебя еще не зажили шрамы. Ну, в переносном смысле.
Он поправил китель. На груди одиноко висел орден — Святого Георгия. Комплимент от того самого государства, которому он был так верен. Государства, которое, казалось, давно уже разучилось говорить со своими людьми на языке благодарности.
Скриптор не удержался — скользнул взглядом по ордену, и в этом взгляде было все: и ехидство, и жалость, и что-то похожее на зависть.
Гюнтер поймал этот взгляд. Не обиделся. Только пожал плечами:
— Ерунда. Я тут не за медалями. Я здесь, если хочешь, по зову предков.
Он сказал это просто, без пафоса. Так, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. И в этот момент Скриптор впервые за долгое время почувствовал, как где-то глубоко внутри, под слоями цинизма и усталости, что-то отозвалось. Тихо. Почти неслышно. Но отозвалось.
Может, это и была та самая ДНК, о которой говорил Гюнтер. Может, и в нем она еще не до конца выгорела.
— Знаешь, Гюнтер, — медленно произнес Скриптор, — иногда я думаю: а что, если мы последние? Последние из тех, кто еще помнит, что такое — быть людьми государевыми?
Гюнтер не ответил сразу. Посмотрел в окно, где за стеклом клубилась серая, промозглая мгла. Где-то там, далеко, жила страна. Большая, непонятная, иногда жестокая, иногда равнодушная. Но своя.
— Значит, не последние, — тихо сказал он. — Значит, есть еще.
И в этом коротком ответе было больше веры, чем во всех речах, что когда-либо звучали с высоких трибун.
Они ехали дальше. Молчали. Дорога уходила вперед. Серая. Пустая. Знакомая.
Впереди была война. Их дом. Их жизнь. Их правда.
И они были людьми государевыми. Навсегда.

Честная цена

Гюнтер смотрел в окно. Скриптор вел машину. Молчали.
Потом Скриптор заговорил первым.
— Командир, — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. — А что тебя раздражает на СВО? По-честному.
Гюнтер усмехнулся. Калганов умел задавать вопросы, на которые не хотелось отвечать.
— Всё меня раздражает, — сказал он. — И такие вопросы в первую очередь.
Скриптор усмехнулся, не отрывая взгляда от дороги.
— Ну так я же не для газеты спрашиваю. Просто интересно.
Гюнтер посмотрел на него. Скриптор смотрел вперёд — спокойно, без наигранного сочувствия, без журналистской жадности. Просто вёл машину. И ждал.
— Хорошо, — сказал Гюнтер. — Слушай.
Внедорожник летел по дороге, почти не встречая попутных машин. Желающих прохватить километры по идеальным дорогам приграничья с каждым днём становилось меньше. Да это и понятно: кто, как не он, лейтенант с позывным Гюнтер, знал, чем это путешествие может окончиться. В небе круглосуточно висели дроны противника, выискивая подходящую жертву. Иногда мимо проносились военные машины с установленным на крыше РЭБом, но против того, что вмиг может оборвать спокойную жизнь, это казалось Гюнтеру наивным оберегом, который таскает с собой каждый его боец.
За окном лес давно сменился непахаными полями. Разбитые прилётами дома выглядели памятниками человеческой жестокости. Унылая и грустная картина прифронтья.
Лейтенант стал любить это время, проведённое в дороге. Мобильный молчал из-за отсутствия даже намёка на связь. Всё оборудование сотовой связи здесь, рядом с границей, давно было разбито дронами противника. Отсутствие связи — уважительная причина не отвечать на десятки сообщений, так и не прочитанных в штабе. Гюнтер ещё раз посмотрел на экран телефона и убедился: связи нет.
— А правда, что меня раздражает? — сказал он вслух, будто отвечая самому себе.
Скриптор молчал. Слушал.
— Больше всего меня выводят приспособленцы, — сказал Гюнтер. — Туристы. Те, кто приехал на год, отсидел, получил деньги и льготы — и свалил. Они постоянно на всём экономят. Сдать на общак для них хуже осколочного ранения.
Он помолчал.
— Я всегда подробно разговариваю с новобранцами, особенно с теми, кто приехал впервые. Я умею это делать и, что скрывать, люблю. Я помню, как когда-то сам отвечал на вопросы командира, и знаю: от его ответа зависит дальнейшая служба. Здесь навечно важен не сам смысл ответа, а та искренность, с которой ты говоришь. Враньё сразу считываю, и это сигнал для меня как командира и человека, принимающего решение.
Скриптор кивнул. Понимал.
— Первым вопросом всегда был: «Зачем ты приехал на войну?» — продолжил Гюнтер. — Если боец начинает, как по заученному, монолог о любви к родине и защите интересов, вторым идёт контрольный вопрос: «Ты это понял на пятый год войны?» Здесь обычно аргументы новобранцев заканчиваются. Ещё я люблю задавать вопрос: «Ты после окончания контракта будешь продлевать его?» Обычно все отвечают: нет. Мол, отдам долг родине и вернусь домой.
Он усмехнулся — без радости.
— Между собой короткосрочников называем туристами. Для них это билет для решения финансовых вопросов и получения льгот. Ни о каком патриотизме в большинстве случаев и речи не шло.
Скриптор кивнул. Молчал.

— Ещё не люблю бойцов, кто воспевает смерть, — сказал Гюнтер тихо. — Смерть — это страшно. Страшно потому, что неизвестность. Потому что это горе близким. Смерть — это финал, который не добавляет уверенности остальным бойцам подразделения.
Он вспомнил Витька — молодого, с горящими глазами. Тот всё рвался в самое пекло, говорил, что смерть красива, что погибнуть за правду — высшая честь. Гюнтер тогда долго с ним беседовал, пытался объяснить, что война — это не подвиг, а работа, грязная и кровавая. Витька не слушал. Через месяц его не стало. Осколок в шею. Гюнтер сам закрывал ему глаза.
— Нет, — сказал Гюнтер тихо. — Смерть не красива. Она — тихая, липкая, всегда не вовремя.
Скриптор молчал. Внедорожник мчался по разбитой дороге, поднимая пыль.
— А тебя что раздражает? — спросил Гюнтер.
Скриптор усмехнулся.
— Необязательные люди, — сказал он.
Гюнтер посмотрел на него. Скриптор продолжил, не отрывая взгляда от дороги.
— Те, кто читают — и не отвечают. Читают, обещают — и пропадают в никуда. Помогаторы.
Он помолчал.
— Той же ночью, когда мы вернулись на базу, я сидел в блиндаже и смотрел в экран телефона. Связь появилась. Ненадолго. Я открыл чат. Там опять: «держитесь», «Александр, горжусь Вами», «вы наши герои». Красиво. Удобно. Три секунды набора текста — и человек спит спокойно с мыслью «ну я же не остался равнодушным». Только вот вопрос: равнодушным к чему? К собственной совести?
Гюнтер слушал. Молчал.
— А по факту — ноль, — продолжил Скриптор. — Ни вопроса «тебе что-то нужно?». Ни малейшей попытки узнать правду. Зато лайк — вовремя. Не подкопаешься. Галочка поставлена, репутация «неравнодушного» сохранена. Сертификат патриота выдан. Можно дальше жить спокойно.
Он усмехнулся — зло, резко.
— При этом возможностей — вагон. У каждого свои, но были. И есть. И почти все — патриоты. Или всё же в кавычках? Лень? Или реально нет желания «напрягаться»? Впрягаться.
Гюнтер кивнул. Понимал.
— Я не злюсь на тех, кто говорит прямо, — сказал Скриптор тихо. — «Слушай, у меня у самого тяжело, сейчас не могу». Это честно. Это по-мужски. Я уважаю прямоту больше, чем фальшивый пафос из серии «я всей душой с тобой», за которым — пустота.
Он помолчал.
— Потому что «всей душой» — это когда ты что-то делаешь. А не когда ты просто красиво пишешь.
Гюнтер посмотрел в окно. За стеклом мелькали серые поля, разбитые дома, пустота.
— То, о чём ты говоришь — это не равнодушие, — сказал он. — Это лицемерие в чистом виде. Когда человек прекрасно понимает, что мог бы — и сознательно выбирает не делать. А потом ещё и включает режим «сопереживающего наблюдателя», упиваясь собственной чуткостью, которая не стоила ему ровным счётом ничего.
Скриптор кивнул.
— Слова без действий — это не поддержка, — сказал он. — Это спекуляция на чужой судьбе ради собственного морального комфорта. Это когда ты хочешь чувствовать себя причастным, но не готов платить за это ничем. Ни временем, ни деньгами, ни усилиями. Даже вопрос задать — и то лень.
Они помолчали. Ехали. Дорога уходила вперед.
— За всё это время я могу пересчитать по пальцам тех, кто реально что-то сделал — так или иначе, любым способом, — сказал Скриптор тихо. — Совсем считанные (по пальцам одной руки) люди выкладываются полностью и думают, чем ещё можно помочь.
Он помолчал.
— Остальные же предпочли быть фоновым шумом. Массовкой, которая эксплуатирует чужую работу ради ощущения собственной причастности, не отдавая взамен вообще ничего.

Гюнтер кивнул. Молчал.
— А «помогаторы» пусть продолжают читать молча, — добавил Скриптор. — Или обещать громко. Или диктовать условия из своих тёплых квартир, где самая большая опасность — это кончившийся кофе. Я их больше не жду. Они мне не нужны. Совсем.
Они помолчали. Ехали.
Гюнтер вспомнил, как однажды, зимой 2022 года, где-то под Лисичанском, все ждали машину из города, на которой везли гуманитарную помощь. В предвкушении конфет, сигарет и хорошего чая в подразделении было приподнятое настроение. Наконец, услышав вдалеке шум двигателя Урала, со всех концов их деревни бойцы начали подтягиваться к штабу. Обычно в штабе раздавали прибывшую помощь. Бойцы называли это коротким словом — «гумка».
— В основном это были бесполезные вещи, — погрузился в воспоминания Гюнтер. — Трусы огромных размеров или вязаные шапки и шарфы ярких и не по-военному цветов. Либо консервированные овощи: огурцы, помидоры и болгарские перцы. Нам хотелось конфет, варенья и чего-то такого, что было бы наполнено ароматом. Иногда привозили запасы зубной пасты или другого просроченного хлама. Говорили: «Дай боже, что тебе не гоже».
Скриптор засмеялся — коротко, без радости.
— Наконец Урал подкатил к воротам штабного домика, и водитель с позывным Кубань, открыв борт, скомандовал: «Разгружайте!» Все пытались высмотреть, что лежало в чреве огромного бронированного Урала. «Ого, тут мешки какие-то», — сказал Тверь. «Ребята, принимай груз». Весь Урал был набит мешками с сушками или баранками. И на каждом мешке красовалась надпись: «Нашим защитникам от семьи Петросян». Спасибо, что объяснили, потому что по весу и по консистенции нам казалось, что внутри просто камни. В общем, глубокая, почти доисторическая «просрочка».
Скриптор засмеялся — на этот раз почти весело.
— Потом ещё долго я видел эти мешки с сушками, — продолжил Гюнтер. — Ими топили печки. Огонь от них был жаркий, и вокруг из труб шёл дым с ароматом пекарни, и все сразу вспоминали эту надпись: «Нашим защитникам от семьи Петросян».
Они помолчали. Ехали. Дорога уходила вперед.
Гюнтер посмотрел на Скриптора.
— Знаешь, — сказал он тихо, — я часто спрашиваю при встрече бойца: «Зачем ты здесь?» И знаешь, для меня это феномен. Люди в тридцать, сорок лет с трудом могут ответить одним предложением. Они мнутся, подбирают слова. «Ну, это… работал…». И чем больше человек находится на фронте, тем сложнее этот момент. Личность стирается. Профессия становится пустым звуком.
Скриптор кивнул. Молчал.
— Вчера привезли пополнение, — продолжил Гюнтер. — Один парень, совсем молодой, с обветренными губами и глазами, в которых ещё не погасла гражданка. Я посмотрел на него и задал тот самый вопрос, который здесь был чем-то вроде теста на искренность: «Зачем ты здесь?»
Он помолчал.
— Парень замялся. Начал про долг. Потом про мать. Потом про деньги. Сбился, покраснел и замолчал. Никто никогда не отвечает на этот вопрос односложно. Странно: спрашиваешь простое, а человек будто оправдывается перед самим собой.
Скриптор посмотрел на него.
— А ты сам можешь ответить? — спросил он тихо.
Гюнтер усмехнулся — криво, без радости.
— Я и сам не могу ответить, — сказал он. — Чем дольше я на фронте, тем сложнее становится этот вопрос. Я умею формулировать, умею разбирать себя по косточкам, но механизм причины и следствия давно заклинило. Почему я здесь? Мобилизованных я понимаю. У них выбор был небогатый: условный Верхний Ларс или плыть по течению в сторону районного военкомата. Но я не был мобилизованным. Я пришёл сам.
Он помолчал.

— Вопрос денег? Возможно. Но когда тебе тридцать или больше, ты всё ещё можешь заработать на относительно приемлемый уровень жизни. Я помню себя другим. Человеком, который следил за здоровьем, одевался по погоде, ценил жизнь во всех её проявлениях. И однажды этот человек сделал шаг в неизвестность. Почему? Может, правы психиатры, когда говорят, что суицидник живёт в каждом из нас и, как туберкулёзная палочка, активизируется под воздействием благоприятной внешней среды. Может. Но даже эта мысль не даёт ответа.
Скриптор слушал. Молчал.
— На гражданке ты сам указываешь себе цену, — сказал Гюнтер. — Торгуешься с теми, кто хочет тебя купить. Таковы рыночные отношения. На фронте цену назначают окружающие. И эта цена всегда честная. Здесь нет ни скидок, ни бонусов. Одним поступком можно поднять её, другим — потерять всё. Всё честно. Это фронт.
Скриптор кивнул. Понимал.
— С первых дней я усвоил золотое правило, — продолжил Гюнтер. — Простое, потому и с отблеском благородного металла. Командир не имеет права отдать приказ, который сам не смог бы выполнить. И дело не в физических кондициях бойца. Речь о морально-волевом уровне. Это трудно. Это очень трудно. Но именно это позволило бойцу Гюнтеру стать командиром, лейтенантом.
Они помолчали. Ехали. Дорога уходила вперед. Серая. Пустая. Знакомая.
— Знаешь, — сказал Скриптор вдруг, — на гражданке ты сам указываешь себе цену. А здесь цену назначают окружающие. И эта цена всегда честная.
Гюнтер посмотрел на него. Кивнул.
— Да, — сказал он. — Честная цена.
Они помолчали.
— Война — это не про награды, — сказал Гюнтер тихо. — Война — это про то, что остается внутри. Про шрамы, которых не видно. Про ночи, когда не можешь уснуть, потому что перед глазами — лица тех, кого уже нет. Про то, как ты привыкаешь к смерти и начинаешь бояться не ее, а того, что перестал бояться.
Скриптор кивнул. Понимал.
— Я по-прежнему не знаю, зачем я здесь, — сказал Гюнтер. — Но знаю другое: я не отдам приказ, который не выполнил бы сам. И, может быть, пока этого достаточно, чтобы идти дальше.
Они помолчали. Ехали. Дорога уходила вперед.
Впереди была война. Их дом. Их жизнь. Их правда.
И они были готовы.
Потому что на фронте цену назначают окружающие. И эта цена всегда честная.

Статус

Внедорожник мчался по разбитой дороге, поднимая пыль. Гюнтер смотрел в окно. Скриптор вел машину. Молчали.
Они доехали. Машина остановилась у КПУ. Гюнтер и Скриптор вышли, молча прошли внутрь. Связь появилась почти сразу — телефоны ожили, завибрировали, засветились уведомлениями. Новости, сообщения, пропущенные звонки. Привычный поток информации, который обрушивается на тебя, как только выходишь из мертвой зоны.
Гюнтер сел за стол, достал телефон. Скриптор устроился напротив, тоже уткнулся в экран. Молчали. Читали.
Новости мелькали одна за другой: переговоры, Трамп, окружение, ВСУ... Привычное чтиво, фон, который не цепляет.
Но одна строка чиркнула Гюнтера по сердцу, заставив перечитать.
«В зоне СВО погиб бывший мэр города Светлогорска. Осужден, наказание заменено контрактом. Подробности гибели не сообщаются».
«Тоже мне индульгенция», — подумал Гюнтер. Украл, выпил, на СВО... Мозг сам подкинул старую шутку из советской комедии. Он усмехнулся, но тут же осекся.
Ох, дружище Рэм. У тебя совсем другая история.
Память услужливо перебросила его в июль 2023-го. Где-то под Бахмутом. В подразделение привезли пополнение — одиннадцать бравых бойцов. Среди них был и экс-мэр города Старозаводска.
Он сразу выделялся среди остальных: статный, собранный, с привычкой держаться так, будто вокруг не грохотала война, а шёл обычный рабочий день. Бывший полицейский, полковник МВД. Гюнтер и Рэм быстро нашли общий язык. Разговаривали урывками, между выездами — коротко, по-свойски. На долгие беседы времени не было.
Гюнтер вспомнил, как они обследовали девятиэтажку в Бахмуте. Смеялись, записывали на камеру, расписывая «прелести» сданного объекта. Вспомнил, как Рэм учил будущего лейтенанта курить трубку. Как однажды подошел и сказал прямо, без обиняков:
— Гюнтер, ты теперь командир. На тебя смотрят бойцы. Ты обязан во всём соответствовать статусу. Понимаешь? Статус — это важно в армии.
Эти слова навсегда врезались в память.
Рэм был реально сильным и мужественным человеком. Гюнтер был многим обязан именно ему. Это Рэм вывозил десятки раненых на купленном самим же квадроцикле. Это он, не боясь дронов и близкой артиллерии, доставлял оборудование и снабжение на позиции. Яркий, запоминающийся период фронтовой жизни.
До дембеля оставалась неделя. Рэм сказал Гюнтеру, что, наверное, продлит контракт.
Но у войны, видимо, был свой счет к Рэму.
Он, как всегда, был на передке. Доставлял снабжение ребятам. Сброс мины с дрона. Осколочное ранение. Ранение, которое не даст продолжить службу и изменит жизнь навсегда. Рука перестала слушаться бравого бойца. Госпиталь, бесконечные упражнения — результата нет. Врачи давали туманный прогноз.
Через месяц Гюнтеру позвонили из приёмной губернатора Старозаводской области.
— Мы хотим наградить Рэма. Он же у вас служил. Можете рассказать, как он воевал?
Лейтенант сразу понял: что-то у Рэма пошло не так.
На гражданке над ним сгущались тучи. Вспомнили о его прошлом в качестве мэра. Просили дать показания на своего товарища — председателя правительства региона.
Он отказался.
За это и очутился на тюремных нарах. Обвинение в растрате. Постыдный обыск. Фотография трех миллионов рублей. Тех самых трех миллионов, которые Рэм получил за ранение.

И тут началось.
Шакалы из СМИ набросились на историю, как на свежее мясо. Смаковали каждую деталь. Заголовки кричали: «У бывшего мэра дома найдены 3 миллиона наличными!», «Коррупционер прятал деньги в матрасе!», «Чиновник-взяточник задержан!».
Три миллиона. Боже мой. Это много?
Никто не сказал, что это деньги за ранение. Никто не упомянул, что это выплата государства фронтовику, который вывозил раненых под огнем. Никто не написал, что Рэм отказался давать показания против своих и за это поплатился.
Соцсети кипели. Комментаторы упивались праведным гневом. «Вот они, чиновники!», «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Украл — ответь!».
Никто не спросил: а за что, собственно, эти деньги? Никто не поинтересовался, откуда они взялись. Никто не захотел узнать, что Рэм воевал, был ранен, получил выплату и просто хранил ее дома, потому что не доверял банкам.
Шакалы рвали его на куски. А он молчал.
Однажды Гюнтер получил письмо. С кучей штемпелей и прочих атрибутов. Письмо из следственного изолятора. Рэм писал немного о себе, о здоровье, но смысл был в другом...
Гюнтер еще раз глубоко вздохнул.
Рэм, как ты был прав. Статус! Статус даёт право, но еще к большему обязывает.
Он смотрел в телефон, где замерла новость о погибшем мэре.
— Держись, дружище, — прошептал он. — Ты сильный. Война тебя не сломала, тюрьма точно не сломает. Ты только держись.
Хотя ставший на этой войне седым Гюнтер не знал ответа. За что же держаться.
Он не знал, услышит ли когда-нибудь Рэм эти слова. Не знал и того, за что теперь держаться самому.
Гюнтер очнулся. Посмотрел на Скриптора. Тот сидел напротив, смотрел на него. Молчал. Ждал.
— Рэм, — коротко сказал Гюнтер. — Помнишь? Экс-мэр. Служил с нами под Бахмутом. Ранен. Потом посадили. За то, что отказался давать показания. Нашли у него дома три миллиона — деньги за ранение. СМИ разорвали. Сейчас сидит.
Скриптор кивнул. Молчал. Потом заговорил.
— Командир, — тихо сказал он. — Тебе напомнить мой случай?
Гюнтер посмотрел на него.
— Статус, — продолжил Скриптор. — Да, высокое положение. Но раз — больно падать. И два — толпа желающих тебя убрать.
Он помолчал.
— Что, Гюнтер? Ведь и меня просили дать показания на начальников. Я отказался. И да, на свободе. Но имя мое втоптали в дерьмо.
Он усмехнулся — горько, без радости.
— Думаешь, я хотел идти в эту Государственную думу? Нет. Был ярким — меня заметили — выдвинули. И помешал я многим. С кем боролся как общественный деятель и блогер. Испугались — что много власти получу. И получил.
Он замолчал. Потом добавил тихо:
— Сегодня закрыть человека ничего не стоит. И былые заслуги — в том числе на фронте — вообще все забудут легко.
Скриптор засучил рукав. Показал татуировку. Patria te semper obliviscetur.
— «Родина всегда о тебе забудет», — процитировал он свое любимое выражение, которое выбил на руке.
— А помнишь мэра приграничного городка у нас тут? — вдруг спросил Скриптор.
Гюнтер кивнул.
— Ему в кабинет мина прилетала. Орден Мужества получил из рук президента. Когда «кассетами» враг накрывал город — приезжал за семь минут к людям разбирать завалы и последствия. Я сам это видел, когда по линии общественного контроля приезжал.

Он помолчал.
— И что? Переместили в другой район — типа повышение. А потом через год взяли.
— За что? — спросил Гюнтер, хотя уже знал ответ.
— Якобы миллион рублей вымогал у кого-то. Причем через месяц после назначения в незнакомом районе. Ага. Так я и поверил.
Скриптор усмехнулся.
— А скольких я знаю чиновников, которые пострадали, потому что без конкурса в условиях войны что-то пытались сделать? «Не положено!» — вот главный аргумент.
Он замолчал. Потом добавил тихо:
— Много лет назад мне один мудрый человек сказал — из чиновников — что лучше получить выговор за неосвоенный бюджет, чем сесть за освоенный.
Гюнтер посмотрел на него.
— То есть проще ничего не делать — тогда и не ошибешься, — закончил Скриптор.
Они сидели молча. За окном шла обычная фронтовая жизнь. Машины, люди, дым от костров. Война.
Гюнтер смотрел в телефон. На новость о погибшем мэре. На письмо от Рэма, которое так и не смог выбросить.
Скриптор смотрел на свою татуировку. Patria te semper obliviscetur.
— Знаешь, Гюнтер, — тихо сказал Скриптор, — мы здесь воюем. Рискуем жизнью. Верим, что делаем правильное дело. Что защищаем Родину. Что нас не забудут.
Он помолчал.
— А потом возвращаемся. И оказывается, что все это было зря. Что никому ты не нужен. Что тебя легко закроют, втопчут в грязь, забудут. Что твой статус — это не защита, а мишень на спине.
Гюнтер молчал. Слушал.
— И вот сидишь ты и думаешь: а за что, собственно, держаться? За Родину, которая всегда о тебе забудет? За государство, которое легко тебя сдаст? За статус, который сделает падение еще больнее?
Он посмотрел на Гюнтера.
— И ответа нет, командир. Ответа нет.
Гюнтер медленно кивнул. Посмотрел в окно. Потом снова на Скриптора.
— Может, и нет ответа, — тихо сказал он. — Но мы все равно здесь. И Рэм был здесь. И тот мэр был здесь. И все те, кого закрыли, забыли, втоптали — они были здесь.
Он помолчал.
— Может, дело не в том, вспомнят нас или нет. Может, дело в том, что мы сами себя помним. Что мы знаем, кто мы такие. Что мы сделали то, что должны были сделать.
Скриптор усмехнулся.
— Красиво говоришь, командир. Но я все равно не верю.
Гюнтер пожал плечами.
— И я не верю. Но что делать? Бросить все и уехать? Забыть? Плюнуть на все?
Он посмотрел на Скриптора.
— Не можем. Вот и весь ответ. Не можем. Потому что мы люди государевы. Навсегда.
Скриптор молчал. Потом медленно кивнул.
— Да. Люди государевы. Которых государство забудет в первую очередь.
Они сидели молча. За окном шла война. Их война. Их жизнь. Их правда.

День офицера

На следующий день Гюнтер пластом лежал на диване. Том самом — вызывающе красного цвета, купленном когда-то по случаю на «Авито» и пережившем, казалось, не одну войну. Этот аляповатый алый монстр чудовищно контрастировал с выкрашенными в унылый военно-зеленый цвет стенами комнаты. Цыганское барокко в худшем своем исполнении. Безвкусица, от которой тошнило, но на которую уже не было сил обращать внимание.

У него было тридцать минут. Всего тридцать минут на то, чтобы просто лежать с закрытыми глазами. В последнее время Гюнтер пришел к выводу, что это лучшее лекарство на фронте — абсолютная, звенящая пустота в голове и неподвижность тела. Кровяное давление сегодня явно решило пойти на рекорд, пульсируя где-то в висках и заставляя веки наливаться свинцом.

За четыре года на войне здоровье ни разу не подводило его. Организм, словно заговоренный, работал как часы, несмотря на недосып, холод и бесконечный стресс. Но сейчас лейтенант физически ощущал, как запас сил и энергии подходит к своему логическому, пугающему окончанию. Все эти годы он твердил как мантру: «Устал — умер». Этот жестокий принцип помогал ему подниматься из окопов, вести за собой людей и осуществлять самые дерзкие, самые безумные планы, на которые не решались другие.

Сейчас состояние было странным. Как на волнах: то откатит — и становится легче, дышится свободнее; то накроет с головой — и хочется просто исчезнуть, раствориться в этом аляповатом красном диване.

«Ох, — пронеслось в голове. — Может, организм чует окончание всего этого?»

Перед закрытыми глазами тут же всплыла картинка: марафонец, который, шатаясь от обезвоживания, добегает последние метры дистанции. Мышцы сводит судорогой, легкие горят, но финишная лента уже рядом. Такое часто бывает: падают не на старте, а за шаг до конца. Когда мозг понимает, что можно расслабиться, тело предает первым.

Гюнтер резко открыл глаза и уставился в потолок.

«Нет. Рано».

Он заставил себя сесть. Диван предательски скрипнул под его весом. В висках снова ухнуло, но лейтенант сжал зубы.

«Надо встать и продолжать работу. Ведь я офицер. И сегодня мой день».

Он поднялся на ноги, одернул форму и бросил последний взгляд на красное уродство, ставшее его временным убежищем. Усталость никуда не делась, но теперь она была загнана глубоко внутрь, под ребра, подальше от глаз остальных.

День офицера. Его день.

Нужно идти. Встать и вести. Как всегда.

Тем более, его ждали.

Гюнтер прошел в штаб. На интервью. Комната была небольшой, душной. Камера уже стояла на треноге. Столичный корреспондент — молодой, с блокнотом, который он так и не открыл — ждал. Рядом с ним стоял Скриптор. Спокойный, собранный. Он кивнул Гюнтеру. Все готово.

Лейтенант сел. Поправил воротник. Посмотрел в камеру. Черное око не мигало. Гюнтер начал говорить, даже не дожидаясь вопроса.

— Новобранец, — сказал он, не глядя на корреспондента. — Новобранец первым делом пытается доказать своим домашним, что война — это страшно. Здесь убивают и калечат сотнями. Убедить, что он герой и ему не страшно. Фото в полной боевой. Смешно видеть мужика на шестом десятке ростом метр пятьдесят пять в каске и балаклаве. Первоходы записывают видео на фоне сожженной техники — нагоняют жути домочадцам.

Он усмехнулся. Усмешка вышла сухой.

— Всё это меня смешило. А теперь — злит.

Гюнтер выдохнул, поправил воротник. Почему-то он решил для себя, что это его последнее интервью. Как завещание. Может быть, потому что надоело говорить дежурные никакие фразы журналистам, которые хотели рапортовать о победах, но сами ни в чем не разбирались.
— Военный — это профессия, — сказал он спокойно. — Опасная? Да. Врач тоже может умереть, подхватив заразу. Электрик — от напряжения. Концентрация и техника безопасности — вот главное. Цена вопроса — жизнь. Оплата высокая, так что все здесь решают свои проблемы исходя из тарифной сетки.
Он улыбнулся. Корреспондент наконец открыл блокнот.
— День Патриота у нас каждое десятое число. В день зарплаты.
Тишина повисла в комнате. Слышно было только тихое гудение камеры.
— Война — это страшно? — переспросил Гюнтер вопрос, который не задавали. — Война в каждом из нас. Разные фазы. Мы воюем ради исполнения желаний. Когда внутреннее противостояние достигает кипения — люди идут на войну.
В его голосе звучала усталость. Не от войны. От людей, которые пришли сюда решать свои проблемы.
Гюнтер посмотрел прямо в объектив.
— Выключи уже, — сказал он корреспонденту. — И запомни: когда закончится эта война, начнется другая. Внутри каждого, кто здесь был. И это — самая долгая.
Он встал, подошел к камере и выключил ее сам. Черное око погасло.
— Я научу тебя выживать, — бросил Гюнтер через плечо, направляясь к выходу. — Если ты, конечно, не новобранец.
Корреспондент остался сидеть в пустой комнате, глядя на погасший экран, и впервые за день не нашел, что записать в блокнот.
Гюнтер вышел из комнаты. Прислонился к стене. Закрыл глаза. Его словно накрыло. Все надоело. Эти дежурные фразы. Эти корреспонденты, которые приезжают на день, снимают «героев», уезжают обратно в тепло. Эти вопросы, на которые он отвечал уже сотни раз. Эта война, которая не заканчивается.
Он стоял, прислонившись к стене, и не мог заставить себя вернуться.
Скриптор вышел следом. Посмотрел на него. Понял.
— Гюнтер, — тихо сказал он. — Иди покури. Я разрулю.
Лейтенант открыл глаза. Посмотрел на Скриптора. Тот кивнул. За это время он стал и помощником, и неким «пресс-секретарем» подразделения. Он умел говорить с журналистами. Умел объяснять. Умел успокаивать. Умел разруливать.
— Иди, — повторил Скриптор. — Я все сделаю.
Гюнтер кивнул. Вышел на улицу. Закурил. Через десять минут вернулся. Скриптор уже все уладил. Корреспондент сидел спокойный, камера снова была включена.
— Готов? — спросил Скриптор.
— Готов, — ответил Гюнтер.
Он сел. Посмотрел в камеру. И снова начал говорить.
— Вспоминая свой 2022 год, я до сих пор поражаюсь нашей живучести и какой-то звериной неприхотливости. Мы стояли под селом Спорное, в районе населенного пункта Волчеяровка. Разбитая деревня без единого местного жителя. Ни воды, ни электричества. Только остовы домов, которые и в мирное время небогато жили. Раз в два дня, если бронированный «Урал» не был занят подвозом БК или провизии, мы выезжали в Первомайский.
Он помолчал. Вспоминал.
— Да и какая там провизия была. Смех. Тушенка, крупа, доширак и, почему-то, соленые огурцы. Иногда, правда, перепадало что-то от сердобольных граждан. Например, мешок баранок. Разгрызть их было невозможно, зато горели они отлично, отдавая тепло и едва уловимый запах пекарни.
Скриптор сидел в углу комнаты. Слушал. Улыбался.

— Где-то через две недели полный, набитый бойцами «Урал» выехал в Первомайск на помывку. Я вновь ощутил себя городским жителем. Бесплатный интернет около палатки с кофе и шаурмой, супермаркет... И, о боже, я увидел работающий светофор!
Скриптор усмехнулся. Шаурма. Москвич Гюнтер говорил «шаурма». Ленинградец Скриптор — он родился еще тогда, когда город на Неве носил такое название — говорил, естественно, «шаверма».
Гюнтер поймал его усмешку. Понял. Усмехнулся в ответ.
— Дорога до Первомайска занимала пару часов, потому что дороги как таковой не было. Было направление и жижа из украинской глины. Эту глину, наверное, проклинали все. Она пудовыми гирями налипала везде, с чем соприкасалась.
Он продолжал.
— Помывка представляла собой платную услугу по принятию теплого душа и возможность постирать белье в стиральной машине. Такие точки организовывали бизнесвумен луганского разлива. Никакого маркетинга и рекламы. Просто на столбе у дороги картонка с надписью: «Баня — 300 рублей, стирка — 150 рублей». Сейчас это, конечно, смешно, когда на каждом ПВД есть душ, парилка и стиральная машина. А тогда это было счастье. Помыться, постирать белье и запить эти впечатления горячим растворимым кофе.
Он помолчал. Посмотрел в камеру.
— В Гудермесе нам выдали форму, которая имела интересную особенность. В жару в ней было жарко, а в холод — холодно. В первую же вылазку в город я приобрел себе, по тем временам и армейской моде, росгвардейский комплект цвета «мох». Теплые штаны на лямках и куртку. Конечно, все это великолепие я срочным образом запечатлел на фото и отправил жене по вотсапу от ближайшей палатки с шаурмой, где ловил интернет.
Он усмехнулся.
— Вспоминаешь и сравниваешь нас тогдашних. А ведь прошло всего четыре года. Сейчас все по-другому. Все чистые, сытые и постоянно на связи. Не надо искать, бегая с телефоном по холмам, как отправить обычную «эсэмэску». Бойцы на фото сейчас все как с обложек журналов об армии будущего. Снаряжение, форма, оптика...
Он замолчал. Посмотрел в сторону. Потом снова на камеру.
— А мы тогда радовались мелочам. Купленному баллону с газом для плитки, выменянному пауэрбанку и просто бутылке лимонада. За эти мелочи мы держались, как за спасательный круг.
Голос его стал тише.
— Помню, как после почти месяца без связи, первое, что я написал жене, было чудом отправленное СМС: «Я живой».
Он замолчал. Долго. Потом медленно произнес:
— Жив ли я сейчас?
Гюнтер посмотрел прямо в камеру. Говорил медленно. Тихо. Как будто не для корреспондента. Для себя.
— Я сижу в тепле, сытый, в чистой одежде. В руках — смартфон, который ловит интернет даже здесь. Мне не нужно бежать на холм, чтобы поймать сигнал. Я могу написать все, что угодно. Спросить, как прошел день у детей, обсудить с женой кредит, даже заказать доставку еды к передовой.
Он замолчал.
— Но почему-то мне хочется написать ей только одно. То самое, что было главным тогда и осталось главным сейчас.
Он выдохнул.
— «Я живой».
Пауза.
— И это самое честное, что я могу сказать сегодня.
Камера продолжала снимать. Гюнтер сидел неподвижно. Смотрел в объектив. Молчал. Скриптор тихо встал. Подошел к камере. Выключил ее. Черное око погасло. Корреспондент сидел с открытым блокнотом. Не писал. Не мог.

Гюнтер встал. Вышел из комнаты. Скриптор пошел за ним. Они вышли на улицу. Молчали. Курили. Где-то далеко шла война. Их война. Их жизнь. Их правда.
Гюнтер посмотрел на Скриптора.
— Спасибо, — сказал он тихо.
Скриптор кивнул.
— Всегда, командир.
Они докурили. Вернулись в блиндаж. В свой дом. В свою войну. Впереди был еще один день. Еще одна ночь. Еще одна жизнь.
Гюнтер сидел на красном диване. Скриптор — напротив. Молчали. Курили. Чай остывал в кружках.
За стеной шла война. Их война. Их жизнь. Их правда.
— Знаешь, — сказал Гюнтер вдруг, — я думаю, мы доживем до конца. До победы.
Скриптор посмотрел на него. Усмехнулся.
— Откуда такая уверенность?
Гюнтер пожал плечами.
— Просто знаю. Чувствую. Организм чует окончание. Как марафонец перед финишной лентой.
Скриптор кивнул. Молчал. Потом заговорил.
— А что потом, командир? После победы? Что будет с нами?
Гюнтер посмотрел в окно. За стеклом была ночь. Звезды. Тишина. Редкие вспышки вдалеке.
— Не знаю, — сказал он тихо. — Наверное, вернемся. Домой. К семьям. К собакам. К жизни.
Он помолчал.
— Но мы уже не будем прежними. Мы изменились. Необратимо. И мир, в который мы вернемся, тоже изменился. Или нет. Может, он остался прежним. А мы — нет.
Скриптор кивнул. Понимал.
— Patria te semper obliviscetur, — тихо сказал он. — Родина всегда о тебе забудет.
Гюнтер посмотрел на него. Кивнул.
— Да. Забудет. Но мы не забудем. Мы будем помнить. Всегда. До конца.
Они помолчали. Курили. Пили остывший чай.
— Знаешь, что самое страшное? — спросил Скриптор вдруг.
— Что?
— Не то, что Родина о нас забудет. А то, что мы сами забудем, кто мы такие. Что мы сделали. Зачем мы здесь были.
Гюнтер посмотрел на него. Долго. Серьезно.
— Не забудем, — сказал он. — Никогда. Потому что это — наша правда. Наша война. Наша жизнь. И никто не отнимет ее у нас. Никто.
Скриптор кивнул. Медленно. Понимающе.
— Да, — сказал он. — Никто.
Они помолчали. Курили. Смотрели в темноту.
Впереди была война. Их дом. Их жизнь. Их правда.
И они были готовы. До конца.
Потому что они были людьми государевыми. Навсегда.
Patria te semper obliviscetur.
Родина всегда о тебе забудет.
Но они не забудут.
Никогда.